

Георгий Пряхин

---

# Хазарские сны

роман



12+

Георгий Пряхин

**Хазарские сны**

«ЛитРес: Самиздат»

2018

## **Пряхин Г. В.**

Хазарские сны / Г. В. Пряхин — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Посвящён одной из самых таинственных страниц Средневековья – драме хазарского каганата, существование которого оказало громадное влияние на формирование Руси. Двукровное государство соединило в себе Восток и Запад с их взаимными противоречиями – мусульманство, иудаизм и даже православие. История каганата и одного из его последних правителей, оставившего след в мировой цивилизации, изложены в мифах, преданиях и довольно смело проецируется на судьбу современной России.

## ХАЗАРСКИЕ СНЫ

### ГЛАВА I

#### ПУТЕМ КАГАНА

Когда-то в Пицунде ненастным осенним днем, шагая вдоль опустевшего песчаного пляжа, изрытого, развороченного людскими следами так, словно толпа отдыхающих, осаждавшая его и колеблющееся рядом море на протяжении почти что полугода, в одночасье бежала отсюда, как от пожара, прихватив с собой и разноцветные фантики тентов, палаток и прочую летнюю мишуру, а кое-что и растеряв – в панике, лоскутами, на ходу, – Сергей наблюдал, как близко-близко летят над штормящей бездной – наверное, в сторону Анатолийских берегов – дикие утки. Летом они, видимо, вволю попаслись на далеких отсюда русских заливных лугах и теперь даже на вид, почти как на ошупь, были тяжеленькие, увесистые, словно кургузые свинцовые пульки. Летели не клином, а строчкой во главе с самой крупнокалиберной пулей – селезнем, чья изошренно инкрустированная головка драгоценно вспыхивала, озарялась на миг изумрудным нимбом, когда в обрывках туч проглядывало ноябрьское солнце.

Тучи бежали, сталкивались, налезали друг на дружку, а солнце стояло себе на месте – две драгоценности синхронно взблескивали над морем: чье-то золотое кованое дно и крошечный, как в обручальном колечке, многоцветный камешек.

Волны в свою очередь повторяли массовое бегство облаков. Сбежали люди, теперь от этих берегов убегала вода. Море изрыто, исковеркано, словно и на нем кто-то гигантский, но невидимый оставлял поминутно кровотокающие панические следы.

И над всей этой сумятицей только одна четкая, строгая, прямо в незримую десятку, наборная нить. Очередь – двадцать пять удлиненных и часто-часто, абсолютно в такт моргающих глаз. Во главе с многоцветно-зеленым.

Утки стлались над самым морем – видимо, так, на предельных параметрах, им легче преодолеть силу встречного ветра. Колобродящее пенное крошево подчас доставало их, накрывало холодным своим кружевом, и утки навывлет пробивали его, являясь взору вновь и вновь, молчаливо и целеустремленно – нить теплящегося сознания в жестоком разгуле стихии. Хаоса.

Ветер, оглушая, рвал капюшон, Сергей и сам уже давно стоял весь с головы до пят в брызгах, как ржавая морская посуда в бесчисленных заклёпках, но, словно замороженный, не сходил с места. Неукротимая утиная тяга над бушующим морем странно волновала его, увязшего в песке на берегу и обдаваемого попеременно то залпом соленой шрапнели, то отстающей от нее ударной звуковой волной.

Мир бурно пересоздавался, искал размер нового совокупного бытия, а Сергей – выпадал. Неподъемный, нелетный и уныло-немятежный. Грустно быть созданным раз и навсегда: тебя

слепили (наспех) и выставили вон. Лучше быть глиной, что всегда под божественной рукой, чем конечным продуктом – горшком...

\* \* \*

Но на сей раз он сполна ощущает все, что ощущали, осязали выпуклыми бонбоньерками своих хорошо начиненных нагульным жирком и салом пузичек те давние перелетные утицы, слитно перемещавшиеся из одна тысяча девятьсот семьдесят девятого куда-то в двухтысячные.

...Несутся на импортном катере. Катерок небольшой, чуть больше обычной моторной лодки, плавных утиных форм и весь как бы цельнолитой из какой-то сверхпрочной и сверхлегкой пластмассы. Металлопластик? Их на катере шестеро. Четверо расположились на корме. Сюда, вперед, оттуда временами доносятся обрывки разговора – встречный ветер сносит их, и они вьются где-то сзади, вплетаясь живой человеческой пряжей в шипящий, клокочущий бурный след, оставляемый катером. По взрыву смеха, пробившемуся сквозь тугий встречный напор, догадываешься: там, на корме, кто-то только что удачно пошутил. Шутка скользнула по пластмассе и – смылась, ушла белорыбицей в бурный след, а вот смех оказался долговечнее и напористее: ласково потрогал ухо.

Там, на корме, выпивают. Дорога у них дальняя, более трех часов, народ собрался объемный и бывалый, поэтому выпивка разгорается не накоротке, а с потягом, неторопливым санным раскатом: лица зардеваются вполне умеренно, а паузы между взрывами смеха идут абсолютно равномерно вплоть до самого места назначения. Сергей, опершись на локти, лежит на носу катера, в общем разговоре участвуют лишь его босые пятки, но одну руку со стаканом протягивает, не глядя, назад весьма регулярно, и кто-то невидимый, но неизменно щедрый, плещет ему туда виски. Мерки этой Сергею хватает на несколько пауз, поскольку народ на корме пьет в компании и в основном водку, залпом, он же выпивает почти в одиночестве, потихонечку: шагом, братцы, шагом до города Чикаго... Разговор на корме, судя по всему, приятный: пятки участвуют в нем охотно и иногда, под щекоткой попутного – для них – ветра, болтаются сами собой. То есть, заговариваются.

Катер ведет Наджиб. Ну да, обыкновенный Наджиб. Когда познакомились, Сергей чуть не переспросил:

– А может, Наджибулла?

Но воздержался. У русских начальников и у русских богатых людей, что сегодня почти одно и то же, появилась мода: заводить себе клеветов среди нацменов. Уже поманенечку опасаются собственного, единокровного народа? А может, и не так. Клеветы, как правило, богаче самих богдыханов – скрытно, подспудно. И, так сказать, обеспечивают им комфорт там, где обставить его официальным путем не с руки: ну, скажем, нету изумительно быстроходного импортного катера у администрации Волгоградской области – где же его взять?

Понятно, где: у Наджиба – вместе с Наджибом.

Состоятельных русских на каждого русского (новорусского) начальника сегодня просто не сыскать. В ход идут нерусские.

Наджиб. Лет сорока пяти. Изжелта-бледное, широкое, непроницаемо красивое лицо, осязаемо бархатистые глаза, за которыми, как и за общей привлекательностью черт, тоже ничего не видно. Вьющаяся восточная проседь. Июнь, а он уже подзагорел. В плавках. На животе шрам и, вроде, не на той стороне, где бывает аппендицит. Коренаст, костляв. Губы узкие, лиловые, как у серны – никаких следов подневольного труда. Исключительно вольный. Командный?

Если в теплой компании «на камбузе» Серегу полномочно и всеобъемлюще представляют его пятки, то здесь, в зоне управления, Наджиб тоже в известном смысле является полномочной загорелой пяткой – того, кто по-хозяйски щедро разливает по стаканам там, на корме. (И разливает, не исключено, припасенное самим Наджибом). И потому, получая слабо курчающимся затылком сигнальное излучение хозяина, тоже считает необходимым мал-мал занимать гостя. Одного из гостей – видно, не очень компанейского, раз отворотился от кают-компании – оказавшегося в тесном соседстве с ним.

Вежливость их взаимна. Сергей молчит ровно столько, сколько приличествует молчать в обществе чужого человека, труждающегося тебе во благо. Наджиб в свою очередь, попадая в настроение гостя, расходует слова, словно им предстоит даже не три часа ходу, а кругосветное плавание. Похоже, ему жалко расставаться с русскими словами, накопленными, скопидомленными за годы жизни на чужбине, что оказалась, правда, к нему, чужому, куда тароватее, чем ко многим, многим своим.

– Катер у вас замечательный, – роняет из вежливости Сергей.

– Купил в Дубае, – отвечает, обогнув предварительно самоходную баржу, Наджиб. И добавляет еще метров через пятьдесят:

– За сорок пять тысяч.

Каких тысяч, какой породы и какого цвета, не поясняет – и так ясно. Зато еще метров через сто проговаривает:

– Самолетом привез.

Сергей восхищенно задирает бровь – ту, которая ближе к Наджибу: ясно ведь, что тонюсенькая нотка горделивости относится не только к скутеру, но и к способу его доставки из-за тридевяти земель. По воздуху – это еще круче, ежели бы собственным ходом.

Даже если б Сергей и не знал, что скутер является единоличной собственностью Наджиба, а не областной администрации или, скажем, вице-губернатора Антона Петровича, он бы давно догадался об этом – без всяких ответных слов. По одной повадке Наджиба за рулем, по ласковой небрежности, с каковой его небольшая, нежадная и короткопалая ладонь, проросшая с тылу редкими, но твердыми черными волосами, покоится на штурвале.

С каковой придерживают во сне за обнаженную, вытаявшую из совместного, согласного сна проталину законную супругу.

Но Сергей уже знал. Антон Петрович, призванный в вице-губернаторство из бизнеса (участвуя в выборных кампаниях на стороне тех или иных кандидатов, бизнес затем для вер-

ности, чтоб лишних искушений не было, еще и приставляет к «победителям» по тертому Савельичу) и еще сохраняющий в себе каленый винный цвет, шалавую силу и даже литую округлость только что вылетевшего из жерла чугуна ядра, накануне названивал Наджибу по мобильнику и давал вежливые указания. Потом они, опять же всей честной компанией, ждали Наджиба на каком-то пришвартованном к берегу полугрузовом теплоходике и, когда тот, уже в плавках и на вот этом летучем голландце («дубайце»?), резко контрастировавшем с их кастрюлей (вот она-то наверняка является собственностью управления делами!) подлетел, оставляя за собою шампанский инверсионный след, вплотную к ржавому борту ветерана обкомовских пикников, – тут-то Сергей ненароком и подумал: а не выдвигенец ли Антон Петрович именно этих, почти эфирных сил?

А не каких-то там земноводных, подземных лукойлов...

И загар на них подозрительно похожий, не июньский, не русский – на Наджибе и Антон Петровиче. Совместно-дубайский.

Скутер тяжеленький, как и нагулявшая жиру осенняя утица – с таким-то увесистым выводком на борту! И основной его вес сосредоточен на корме – тоже как у раскормленной птицы, которую и щупать-то, тискать, определяя на вес и яйценосность, начинают именно сзади, с «курдюка», а не спереди. Груз этот дает катеру основательную осадку, он сидит в реке, как граненый, вбитый по самую шляпку стакан в волосатой мужицкой лапе – стеклянным утопленником. Но и двигатель, расположенный, заточенный тоже где-то на корме, как зверь в клетке, дик и чудовищно силен. И, сам в исступлении зарываясь в бурлящую речную глубину, как в собственную дурную пену, яростно содрогаясь всеми восставшими мускулами и передавая почти на молекулярном уровне это свое живое, страстное и мучительное содрогание даже холодной, мертвенной химии металлопластика, грозно выдирает, выталкивает утопленника вон. На поверхность – у того даже нос задирается кверху, с размаху, ритмично, словно отбивая такт, шлепая, как блином о сковороду, об тугую и серую, твердую, словно ей еще спеть и спеть, волжскую воду. Сергея с Наджибом – тоже немаленького веса – не хватает, чтоб уравновесить скопившуюся на корме спаренную мощь: тяжести и силы. Неподъемности и отчаяния.

Наджиб сидит прямо, даже прямолинейно, как статист в «Девочке на шаре». Сергей же, растянувшийся даже не на боковой полке, а прямо поверху, по обшивке, по причине этого несоответствия, неравновесия – будто вставлен в тетиву и тоже задран. Приготовлен к пуску. И даже, со свистом и гиком, пущен куда-то поверх горизонта. Поэтому все, включая Наджиба, плывут, Сергей же летит. И когда катер все же задирает, как рубанком, наворачивая вокруг себя рунные горы ослепительной стружки, носом своим речную воду, у Сергея впечатление, что это его с размаху физиономией об стол.

Чтоб не шкодил?

Катер имеет красиво выгнутое ветровое стекло, как у пилотов первых летающих «этажерок», чья скорость в небесах, конечно же, была несоизмерима с бешенством, с которым несутся они сейчас по Волге-матушке. И когда он на миг зарывается носом в нежный пах текущей попутно ему реки, именно стекло принимает на себя первый, молодой и упругий фонтан брызг, которые скатываются потом с него ослепительными слезами счастья. Вместе с тем и ближним седам, особенно Наджибу, достается: жесткая проседь у афганца в алмазной пыли, он не стряхивает ее, и невесомо-чудесная влажная ноша как бы заставляет его отбрасывать, запрокидывать крупную, округло-крутую голову свою назад, и эта несущаяся над волжскими

просторами компактная, в мгновенных искристых излучениях, иноземная корона – тоже как летучая, совершенно нестойкая и, тем не менее – подкоркой, на миг, на обрывок бреда – узнаваемая, угадываемая из-под прикрытых ресниц реминесценция из бог знает каких времен.

Сергей лежит, голова его ниже, чем у Наджиба, опущена в ладони, но и на его долю всякий раз приходится порядочный крупитчатый сноп, сквозь который проносятся они, оставляя последки его, остаточный, уже осколочный его звездопад тем, на корме, где властвует Антон Петрович: остудить и облагородить водку в стаканах.

Сергей действительно жмурится, и сноп сразу же расцветает: розовым, синим, зеленым. Дрожит, оседая северным сиянием, нежным павлиньим хвостом.

Два селезня, два изумруда над русской – пока еще – водой: туда и обратно.

Но сегодня и сам он летит, не застрял, не увяз на берегу, летит, ощущая на невидимых своих водонепроницаемых крыльях нежный нагар мельчайшей водяной, волжской (главная дорога России) пыли.

Как изморозь в паху.

\* \* \*

Да, плывут вниз по Волге, в Астраханскую область, но Сергею кажется, что река сама несетя, обнимая их, как долгожданных детей, им навстречу. И он распластан над нею – тяжело, не по-стрекозьи, как летают существа, совершенно неприспособленные к полету, коровы, например, но фатально и неукротимо, со странно холодными и пресными слезами на губах. Летит, уже срезая с реки гудящими крыльями ее мутноватую накипь, вопреки тетиве и взлетному своему положению – куда-то внутрь. Не по горизонтали, а по косо, наклонной: внутрь этой несущейся навстречу материнской, литой, слитной жизни. Не к устью, а к верховьям. Теряя в объятьях скорости и реки собственный вес, сублимируясь до чего-то, лишь отдаленно сродственного самому себе.

Словно тело его уже растворилось и, выпорхнувшая, ослепительно сытая солнцем, косо, петляя, неверным маршрутом бабочки-первоцвета уже полетела – впереди него самого. Зажмуривает глаза и видит ее, собственную и уже почти чужую, нежно, как и положено душе, проявляющуюся в негативе июньского речного полдня, где все блестит и существует в слепяще разъятом, осколочном виде.

Тела действительно не чувствует, но в остальном легкости нет.

Не поймет, зачем здесь оказался.

Во всей этой поездке есть изначальный порок необязательности.

Десять лет впряжен в хомут. Вернулся в положение Савраски, из которого, казалось когда-то, вышел раз и навсегда. Порвал, казалось, с миром тягла и сбруи, в котором и родился некогда, вывелся и который существовал, прел под ним на много-много колен вглубь: так

семечко кабачка сажают на вершине тучной навозной кучи, роскошной, полной внутреннего, нутряного тепла и гниения ромовой бабы – и она, тужась, продолжает – огоньком, фитильком, опущенным в склянку с ворванью – свое тлетворное дело. Десять лет следует по строго предписанным – хворосту воз – надобностям. Не то что поездки (они-то в первую очередь!) – сами дни его подчинены высмыкиванию, выскабливанию, подчас с совершенно каменистых пустошей, пользы.

А тут никакого видимого смысла. Полет. Парение. Полное отсутствие грузила.

Совершенно необязателен здесь – в том числе и на этом невесть куда несущемся катере. Его пригласили за компанию. Пригласил банкир, чеченец, возлежащий сейчас на корме. Лет на десять моложе Сергея, чуть пониже него, но весь исполненный тяжелой свинцовой стати, которой вообще отличается этот народ. В какой-то этнографической книге Сергей прочитал, что чеченцы – самая красивая нация в Европе. Прочитав, удивился. Не тому, что книга написана не чеченцем, а явной географической неточности. Какая уж тут Европа! – поменяйте Наджиба и банкира местами – и разницы не почувствуете. За штурвалом как был так и останется Восток. Катер только глубже врежется в воду. Как лемех. Рука у банкира будет потяжелее наджибовой, хоть и держит он едва ли не сызмальства одну авторучку – даже не автомат.

У банкира уже в наличии объемный, как закром, туго подпоясанный мужским махровым кушаком, живот. И торчал бы он точно так, как и Серегин, почти безволосый, выпинающийся кругло и безобразно, будто у муравья, болеющего рахитом, если б не могучая грудь. Высокая, тоже волосатая, с мощной двуглавой мышцей, она нивелирует живот, составляя с ним единое respectable целое. Сейчас, нагишом, еще видно, что они существуют отдельно друг от друга – твердая, щитообразная грудь и крутая, пасхальная выпечка живота, а вот облачится его друг в один из своих дорогих, уже как бы не из овечьей шерсти, а из самого нежного и теплого овечьего дыхания спряженных костюмов – и они действительно составят одно слитное, покойное, в меру чревоугодное целое.

Если у Сергея волдырь, то у банкира и впрямь трудовая мозоль. Крепкая, кожистая, трудящаяся.

Чеченцы породисты. Сергей в юности служил с ними в армии и тогда еще заметил их статность, чистоплотность, прирожденную способность к военной жизни, к обхождению с оружием. Древность ли самого народа сказывается в его походке и выправке, или это результат пережитых им пертурбаций, того неоднократного и жестокого естественного отбора (если его можно назвать естественным, то что же тогда противоестественно?), которому был он подвергнут на протяжении нескольких последних веков?

Ни один народ на территории бывшего СССР не дает сейчас такого прироста, такой рождаемости, как чеченцы. По некоторым сведениям, рождаемость у них поднялась в семь раз: то есть сегодня против русских воюют не мужчины – против них, увы, успешнее воюют женщины. В двух ипостасях: и шахидок, и рожениц. Народ преображается, когда стоит на кону?

Хотя всему, наверное, есть пределы. Русских так долго и зловеще держали и держат на кону, что нация почти выветрилась. Выдохлась. Кураж имеют только доморощенные бандитики – и те чаще всего над своими же, безответными. Народный дух приобрел отчетливую горечь перегара. Похоже, с уменьшением размеров страны изменился и масштаб ее мужчин, причем и в самом прямом смысле. А если где и заметишь в толпе могучую мужскую спину, не

торопись забегать ей наперед, заглядывать в глаза – скорее всего увидишь тусклый болотный огонек, а не разудалый русский простор, который ожидал увидеть...

Пригласили его из дружбы, к тому же какому ж банкиру, особенно чеченцу, не потрафит, если в сопровождении у него окажется вчерашний партократ, а ныне совершенно свободный и в меру безденежный русский писатель? Губернатор Волгоградской области, к которому они заезжали по делам накануне и с которым у банкира есть свои взаимные интересы, знает Сергея – и их знакомство и даже некоторое расположение друг к другу также оказалось кстати во время утренних переговоров, в ходе которых каждый из них, и губернатор, и банкир, оба себе на уме, лишь показывали друг другу, как партнеры по подкидному, краешек карты (знаете, как в тюрьме рассказывают анекдоты? «Анекдот номер такой-то!» – восклицает рассказчик, и публика уже хохочет, зная всю «колоду» наперечет) – так, в качестве приятного младшего козыря был дружески продемонстрирован и Сергей.

Отказываться от приглашения Сергей не стал – на то есть свои причины.

Банкир в свое время крепко выручил его издательство, закупив у них пятьдесят тысяч книг, в том числе и книгу самого Сергея – книжки затем были отправлены на Северный Кавказ, в библиотеки и школы. И первую партию они вместе привезли в Серегин родной Буденновск. Прилетели самолетом, который заказал и оплатил Муса, сели на военный аэродром. Господи, если бы кто-то в детстве сказал Сергею, что неподалеку от их интерната возникнет военный аэродром с самолетами, похожими на долгоносиков, прячущимися в крытых дерном бетонных погребках, и что в самом интернате какое-то время будет располагаться штаб действующей военной бригады, и что их тихий, заспанный, казалось, навечно тыловой Буденновск станет прифронтовым городом?!

На это не хватило фантазии ни у кого, кроме как у самой жизни.

Впрочем, как это тыловой? Городок так часто менял названия, в том числе и на Серегиней памяти, как будто только и делал, что переходил из рук в руки. Маджар – Кара-Багла – Святой Крест – Буденновск – Прикумск и опять – Буденновск... Какое следующее? – Освенцим?.. Нью-Атлантида?..

Какие-то намеки жизнь все же, наверное, делала. Военный аэродром находится за соленым озером, справа от него, если смотреть со стороны города. Сергей когда-то работал здесь, в райцентре, в районной газете, изъездил район вдоль и поперек. Поселочку, волею судеб оказавшемуся сейчас рядом с аэродромом (здесь жили когда-то дальние Серегины родичи, мать однажды мальчиком завезла его сюда на ночлег, и Сергей запомнил, что у одного из них, молодого крепкого парня, была деревянная рука, другой рукой парень сгибал ее в локте, потом резко отпускал, и рука выхлестывала, распрямлялась как живая – «вот так я и дерусь», – сообщил парень Сергею на ухо, хотя вид у самого был вовсе не драчливым, а скорее проказливым), так вот, поселочек этот еще в тридцатых получил наименование «Чкалов» – когда на сотни верст вокруг не было ни одного аэроплана.

Колхоз же, в который он входит и на отчужденных землях которого и располагается сейчас военный аэродром, именовался «Новая жизнь». Теперь они, наконец, воистину воссоединились: Чкалов, самолеты и новая, совершенно новая жизнь, временами ужасно похожая на смерть.

Прилетели 1 Мая. В качестве почетных гостей участвовали в демонстрации трудящихся. Банкир, приветствующий с деревянной трибуны нестройное шествие полубезработных трудящихся – любопытно, ничего не скажешь. Вручали книги в переполненном актовом зале – Муса остался внизу, в партере, Сергей же поднялся на сцену. Поехали в больницу – Муса выделил деньги на антибиотики третьего поколения, и Сергей поразился, когда понял: вот эта картонная коробочка, которую они передавали, как грудничка, с рук на руки, главврачу, что своею южной молодежью дородностью и белизною облачения напоминала лакомо вылизанную кем-то сахарную статую женского пола, как раз и стоит, оказывается, три тысячи баксов.

Их, тоже облаченных в хрустящие от крахмала халаты, водили по палатам – антибиотики, кстати говоря, предназначались в первую очередь для рожениц. Сергей сумел отделиться от громоздкой процессии и заскочить в нейрохирургию, где лежал родственник его младшего брата: они все втроем учились когда-то в интернате. По пьянке заполучил ушиб мозга, и ему сделали операцию – накануне Сергея как раз и просили спроворить сюда, в больницу, «звонок из Москвы». Вполне осмысленно, хоть и наскоро, побеседовали с ним, а когда стал прощаться, успешно прооперированный бригадир винодельческого совхоза попросил передать привет «Сережке из Москвы». Серега переглянулся с его женой, бригадиршей, бессонно и безучастно (статуя в положении сидя) застывшей у изголовья кровати.

– Он спутал тебя с твоим братом, – шепнула статуя, в которой в другой обстановке сам Сергей никогда не узнал бы востроносую и востроглазую, а главное – тоненькую и даже на глаз совершенно не каменную блондинку, которую видел последний раз лет тридцать назад.

Берут глыбу и делают, вытесывают – девочку. Жизнь же – это скульптор-модернист: берет девочку и, как навозный жук, наматывает, навивает – глыбу.

Сергей поперхнулся и понятливо выпятился вон.

Облако в штанах – это если бы главврач был мужчиной. Русским.

Муса же проходил по больничным коридорам даже не как главглавврач, а как папский викарий во время мессы.

Побывали у всех скорбных мест, оставленных городу августом девяносто пятого. У памятника военнослужащим вертолетного полка, спешившим на помощь горожанам и расстрелянным прямо в легковой машине. У памятника погибшим милиционерам. Само недавно построенное здание милиции дало усадку, лопнуло, и его стянули металлическими швеллерами. Муса вроде бы и глаз наверх, на кирпичное здание, возле которого и установлен памятник, не поднимал, а тем не менее, глядя себе под ноги, на цветы, которые они с Сергеем только что и положили на полированный мрамор, проговорил – одному Сергею, словно он у него, банкира, и есть главный казначей:

– Денег на ремонт дать надо....

Их сопровождало много народу: и городские власти, и просто празднотлюбиволюбопытствующие. И Сергей старался тулиться поближе к Мусе: все-таки это он, Сергей, завлек этого важного чеченца в свой родной город, распятый чеченцами же в девяносто пятом, и теперь как бы в ответе за него. Неровен час – не случилось бы чего. Муса прилетел сюда без телохранителей, которыми обсыпан сейчас, как сдобная булка маком, любой мало-мальски денежный человек,

и Сергей, конечно, не настолько ребячлив, чтоб изображать из себя его персонального Кэвина Костнера. Просто надо быть рядом, чтобы не подумал, что трусит, держится на всякий пожарный на отлете.

Или что нарочито отстраняется, чтоб никто из толпы не бросил:

– Продался чеченам, землячок?

Сергея в городе знают. Было время, он и сам приезжал, спускался сюда, как небожитель, и хоровод местных начальников вился тогда исключительно вокруг него самого. На Сергея тут руку никто не поднимет, поскольку здесь он – многолетняя местная достопримечательность. Священная буденновская корова. Некоторым кажется ровесником здешней деревянной колоколенки – многие в городе и родились, и выросли под сенью его локальной славы. Вон, позволили недавно, предложили библиотеку в городе его именем назвать.

– Так я же пока, слава богу, не помер! – засмеялся Сергей.

– Так и мы ж на всякий случай! – засмеялись ему в ответ: народ в Буденновске с юмором. Буденновским.

Руку на него не поднимут, и уж на одного-то чужака, даже чеченца, его авторитета, сени его широкополой хватит: принимали их спокойно и даже сердечно.

Сергея тронуло, что будучи вообще-то словоохотливым (где же вы видели, чтоб лицо было кавказской национальности и несокрушимой русской молчаливостью?), Муса в Буденновске обошелся без единой речи. Стоял молча, иногда – Сергею на ухо – резюмировал:

– Денег дать надо...

Насчет денег он был, конечно, прав. Шептал Сергею на ухо, но Серегино ухо в этот момент приобретало совершенно новые, удивительные свойства: как бы не только улавливало, но и резонировало, усиливало сказанное. Говорил в ухо, тихонечко, а получалось – как бы в «пятый микрофон», на публику. Сергей еще ни слова не сказал в ответ, никак, кроме разве что важным, словно и впрямь имел отношение к этим гипотетическим денежкам, кивком головы, не откликнулся, не откомментировал благородство намерений, а народ вокруг уже восхищенно реагировал:

– Спасибо!

– Спа-си-боч-ки!

Как они узнавали, что шепчет Муса их земляку? Дело тут, наверное, не только в удивительно открывавшихся новых качествах Серегиных ушей, а в извечном свойстве самой людской нужды. Она слышит то, что вожделем слышать – особенно от банкиров. Любого подданства и любой национальности. Это она, крайняя нужда, делала сам воздух вокруг нее суперпроводником, а чужие уши, даже такие толстые, телячьи, как у Сергея, нежно чувствительными мембранами, работающими не столько вовнутрь, сколько «на вынос». Муса еще только склонялся к Сергею, а обступившая их праздничная толпа уже благоговейно кланялась:

– Спа....

Не то «спасибо», не то «спасите».

Один раз только обшибочка у Мусы вышла.

В отделении травматологии Муса подошел к чернявому мальчику восьми-девяти лет. Врач пояснила, что у малыша сломана нога: играл с друзьями на стройке. Муса обратился к мальчишке на непонятном языке. По-чеченски, – сообразил Сергей. Тот напрягся, в глазенках мелькнуло смятение, потом справился с собой и ответил, правда, едва слышно. Да если б и громче ответил, все равно никто бы, кроме Мусы, не разобрал – потому как тоже по-чеченски. Сергею даже показалось, что в первое мгновение хотел сказать по-русски, а потом все– таки последовал за Мусой, переключился на чеченский.

Видимо, не сразу смикитил, что перед ним – чеченец, соплеменник. Вряд ли видывал раньше таких чеченцев. У Мусы выхоленное продолговатое лицо, крупные, с крупными иконописными веками, глаза, чудесно, до краев заполненные теплой бархатистой мглой.

И вообще: можете ль вы представить сегодня чеченца еще служивого возраста в хрустящем, как пасхальная скатерть, халате и в кондитерском колпаке? Когда, кажется, все они, поголовно – в пятнистой лягушачьей униформе, в которой нынче даже сторожа на рынках щеголяют, и с гранатометами наперевес. Удивительное военное время мы переживаем: два народа насмерть схватились в горах, а третий, составленный совершенно паритетно из них же, просаживает фантастически нажитое войной, на войне в московских казино, что с наступлением темноты, как сон-трава под Янку Купала, распускаются в столице едва ли не на каждой улице внутри Садового кольца.

Цветы зла, корнями опущенные прямо в питательный, высококалорийный гной чужих ран.

Похоже, мальчонка б меньше удивился, если бы с ним заговорили уж коли не по-русски, то на английском или даже на арабском. Средней руки арабский шейх подошел к кровати и что-то спросил, указуя влажными глазами на загипсованную и вытянутую, подвешенную, как будто в скандальном приветствии, ногу, на родном мальчонке языке.

– Мы и не знали, что наш Муса тоже, оказывается, чеченец, – грустно улыбнулся в крахмальный воротничок айсберг женского рода, величественно сопровождавший высоких гостей.

Уже выходя из палаты, где лежали не меньше пяти-шести человек, Муса-большой снова подошел к Мусе-маленькому, склонился к нему пониже и вновь что-то спросил вполголоса.

Маленький ответил, а переждав мгновение, сам о чем-то спросил большого.

– Конечно! – громко, по-русски ответствовал большой и улыбнулся, погладив воздетую в лаконичном рапорте ногу. Все вокруг тоже улыбнулись, как будто вполне поняли их разговор.

Уже позже, на обратном пути, в самолете, за рюмкою, Сергей спросил Мусу, о чем они говорили с мальчиком?

– Да я спросил у него: может, надо что? Он ответил, что ничего не надо. Тогда я спросил: может, денег дать?

Сергей угадал: ну разве мог Муса упустить случай и не поинтересоваться у подрастающего поколения насчет бабок? Это же у него высшая форма нежности и доверия: может, денег дать? Пароль, с которым он, минуя массу промежуточных словоизлияний, обращается напрямую к самой жизни.

– Ну, и каков был отзыв?

– Что-что? – не понял Муса.

– Что он ответил тебе?

– А... – смутился маленько Муса-большой. – Да сказал, что денег не надо...

Уловил Серегин взгляд и тут же продолжил:

– Ну да. Сказал, что и денег не надо, а потом спросил. Знаешь, что он у меня спросил?

– Что?

– Приеду ли я еще раз?

Теперь была очередь Мусы победительно взглянуть на Сергея.

– Ты хотел легко отделаться, а он поставил тебя на место.

Муса сперва решил обидеться, уже и глаза свои, полученные явно вне очереди, ибо изначально наверняка предназначались какой-нибудь новорожденной красавице Бэле, распахнул пошире, но потом передумал:

– Может быть.

\* \* \*

Чеченский мальчик в буденновской больнице – больница как будто сама и родила его. На всякий случай. Тогда, в августе девяносто пятого, роженицами, находившимися в старой буденновской больнице, чеченцы прикрывали окна – чтоб не стреляли. Загоняли их на подоконники и заставляли становиться на них в полный рост. Окна в старой больнице маленькие, и наступавшим спецназовцам видны только выпуклые, тугие женские животы с расходящимися на них халатами: больница рожала мучительно, бойницами, выложенными из зажелезившегося кирпича старинного храма Вознесения, самого крупного на Северном Кавказе, стоявшего когда-то на этом месте. Больницу и соорудили-то некогда из его советских обломков.

А храм был поставлен в стародавние времена в память о тверском князе Михаиле: по преданию, он растерзан татаро-монголами именно здесь, на крутом берегу Кумы... Такова наша южная, плодovitая земля: куда ни ткни – кровушка выступит.

Старая земля. Совсем недавно Сергей узнал, откуда Мамай двигался на Куликово поле. Из Буденновска. Из города Маджар. У Сергея волосы зашевелились – от восторга – когда прочитал об этом в одном историческом фолианте. Как будто нежный средневековый ветер, чей-то далекий степной выдох, крылатый сполох коснулся щеки, и щеки – зардели. Как у моего внука, мальчика, полного сказок и легенд, и надежд на легенды и сказки, которому дунь в висок и он, словно бычий пузырь, облегающий тревожную малую душу – взлетит.

Мамай не мог жить в Золотой Орде, в ее столице, потому что был нелегитимным ее правителем, не чингисидом, бастардом. Потому и выбрал столицей город Маджар, лежавший на сретеньи всех дорог: из Европы – в Срединную Азию и в Китай, из Персии и Кавказа – на Север. Город, в котором встречались шелк и соболя, золотые слитки и фальшивые дукаты. Город глинобитных дворцов с устланными глазированной плиткой полами, с внутренними двориками, чьи стены, как старческие руки, перевиты ржавыми жилами вьющегося винограда, с каменным желобом водопровода, по которому, поднятая на изрядную высоту двумя верблюдами, ходившими друг за другом, как на древней амфоре, по кругу и вращавшими каторжным своим ходом громоздкий и скрипучий деревянный барабан, бежала желтая – золото можно намывать прямо в ней – и студеная кумская вода.

Водопровод, воздетый по наклонной на каменных быках, пролегал как раз по тому самому месту, где со временем возникнет христианская святыня с мужским монастырем, и потом, на монастырских же обломках, больница: чьи-то обугленные горсти, споро перемещавшие когда-то к дворцам и висячим садам кумскую водицу, и не заметили, как поменялась их чудесная ноша... Что было абрикосово-желтым – стало закатно алым. Как раз в районе больницы бьют родники, которыми питается, подпитывается Кума. Река, наверное, вздрогнула, очнулась от вековечного забвения, когда умылась вдруг винною, омолаживающею ворожкой красного. Алого. Вода, тлен и кровь – рифмуются еще слаще, чем кровь и любовь.

Стало быть, Мамай – первый детдомовец Буденновска.

Наиболее чувствительные натуры в интернате, в котором воспитывался Сергей, ощущали себя прямыми наследниками Мамаея. Им не давало покоя его бесхозное имущество. Имелись в виду не географические контуры утраченной империи, а нечто куда более осязаемое. И даже движимое. Движимое имущество. Движимость. В соленом озере Буйвола, лежавшем, плавно, женственно огибая его, возле города, покоилась золотая мамаева колесница. Кто же об этом не знал? – весь город. Весь город передавал это достоверное знание из поколения в поколение. Поразительное дело! – о том, что Мамай двигался на Куликово поле из Маджар, то есть из Буденновска, Сергей узнал уже будучи не просто взрослым, а вполне, положительно пожилым. А вот о том, что в Буйволе, глубоко, даже не по золотые ступицы, а по самый шелковый верх, на котором трепетало походное знамя смоляного кобыльего хвоста, увязла роскошная, чистого золота, парадная колесница незадачливого завоевателя – об этом узнал, едва переступив порог интерната. Порог интерната и порог города переступал одновременно: его перевезли сюда из Ногайской степи, вынули, вылили, как выливают по весне из норки очумелого суслика, когда умерла мать, и сдали здесь на казенный кошт.

Среди мамаевых наемников, ландскнехтов были и генуэзцы – возможно, колесницу сработали там, на Аппенинах?

Мамаеву колесницу не искал никто, кроме интернатских. Это у них тоже передавалось из поколения в поколение. Городские краеведы и авантюристы раскапывали копаные-перекопанные Маджары, тащили из раскопов бирюзовые осколки плиток с червоточинами былых узоров, могильные камни с клинописными шифрограммами (с того света?) на них, монетки, уздечки, густо обросшие ржавчиной – тронешь, и рассыпаются в пыль – и прочую мелочь.

Интернатских же влекли другие масштабы.

Танцевать – так королеву!

С ранней весны и до поздней осени торчали кверху черными, цыганскими пятками в разных углах Буйволы. Даже акваланги где-то раздобывали и вылизывали тощим брюхом ее подводные недра. Недра у Буйволы знатные: если поставить земснаряд, то будет выдавать непосредственно мазут: на дне Буйволы не ил, а многометровые залежи черной, пышной и пуховой грязи. Нырнешь представителем одной расы, выныриваешь – африканцем. Смазывает без проплешин, жирно, зловонно, с радужным легированным отливом. Спичку поднесут – вспыхнешь. Интернатский народец и без того пройдошистый, а при такой-то бархатной смазке в игольное ушко ящерицей проскальзывает. Какие-то непознаваемые процессы идут в глубинах соленого озера: сера, аммиак, йод... С микроскопическим участием золота. Есть, есть колесница! – твердо верила ребятня. Если только не переварила ее эта едкая утробная грязь.

Интернат на берегу озера, метрах в трехстах от него. И все самое интересное в ребячьей жизни связано с ним. Купаться начинали рано, с середины апреля. В поперечнике озеро не меньше километра. Несколько камышовых островков, словно пологие крыши подводных мазанок, разбросаны по нему. Решили однажды втроем промахнуть его насквозь: туда и обратно. Вода соленая, горьковатая, легкая. Волны нет. Только рябь чуть-чуть играет, будто кто-то громадный и невидимый поднес к губам это выпуклое степное блюдо и, изготовившись, задумчиво выдохнул, сдувая прозрачный парок. Плыли в полной безмятежности: саженками, на спине. Остались в стороне острова, на которых и земли-то не было: только камыш, увитый жемчугами лягушачьей икры – по вечерам эти островки превращались в оркестровые ямы, возносившие над городом душное марево жабьих стонов. Казалось, усталость не достигнет их никогда. Но не тут-то было. Где-то за серединой силы стали сдавать. Барахтаешься, барахтаешься, а все на одном месте – как муха в парном молоке. А тут как раз самая глубина: скользнешь солдатиком вниз – ноги стынут: подземным, подвздошным, могильным холодом тянет оттуда.

Черт его знает: вдруг там, в жирной бездонной грязи, не только колесница, но и сам Мамай в ней, в решето изъеденный рыбами и пучеглазыми здешними раками? Ждет не дождется, кто же, наконец, составит ему, одинокому, честную компанию?.. Каждый сопит и каждый не признается – вслух – что сдает. Да и сил на слова нету. Глаза и те сами собой закрываются. Стал считать про себя гребки. До трехсот дошел – все, будь что будет. Колом, но при этом совершенно молча, в полном соответствии с неписанным мальчишеским уставом, пошел вниз.

– Здра-асьте, гражданин Мамай!..

И по колено увяз в грязи. По колено, потому что и воды оказалось почти столько же. Оказывается, они давно уже молотили по мелководью.

– Ё-моё! – хрипло провозил Сергей, и это была долгожданная команда для всех: друзья его тотчас последовали его примеру. Минут пятнадцать еще брели они к противоположному, высокому, уходящему прямо в родную Серегину степь берегу. На котором и расположен сейчас военный городок 205-й бригады, где в этот приезд Сергей и Муса также побывают в гостях – и опять же, благодаря Мусе, не с пустыми руками.

Дошли, добрели и свалились – прямо под кручей, продырявленной в нескольких местах на недостижимой высоте зрачковыми норками ласточек-береговушек. Отлежались и приняли единодушное решение: назад возвращаться посуху. Вплавь уже не отважились: поджилки еще дрожали. Двинулись вдоль озера. Солнце садилось, холодало. Апрель, а они в одних трусах. Добрались до шоссе, огибавшего Буйволу – шоферня редких тогда машин, смеясь, сигналила им, но брать с собой, подвезти не торопилась. А ведь на том, интернатском берегу, спрятанная в полынной ямке, их одежда. Три форменных картуза, три шерстяных гимнастерки и три пары штанов. Целое состояние. «Гоминдановка» – звали они свою интернатскую форму. Что если на нее уже кто-то позарился? В каком виде заявятся они, продрогшие и скукоженные, в интернат?

Курам на смех.

Плыть пришлось километр, пешком же чесать не меньше четырех...

Буйвола... Наверное, раньше называлась правильнее – Буйволица. Буйволица, глубоко и покойно разлегшаяся после водопоя вдоль города.

А может, и в оглобли мамаевой колесницы была впряжена не кобыла, а буйволица? Верблюдица? – они в степи сподручнее.

Недавно узнал: название ногайское и вряд ли связано с буйволами, хотя буйволы у ногайцев в чести.

\* \* \*

Отказать Мусе не мог не только из благодарности о той поездке. И не только потому, что про себя рассчитывает на продолжение финансовой помощи издательству – сегодня издателю, чтобы жить «на свои», надо либо иметь весьма солидный первоначальный капитал (чаще всего чужой), либо истово служить ширпотребу, если не чему-то еще более сомнительному и даже темному. Пушкин и Лермонтов, чьи полные академические (23 тома и 10 томов соответственно) собрания издал Сергей, в гробах бы перевернулись, узнав, какой ценой, какими ухищрениями и унижениями собрал и воссоздал, выползал он эти их многотомники, невиданные ни тем, ни другим при жизни. Пушкин еще правил первые тома своего первого Собрания, поручик Лермонтов же, соривший стихами, как и деньгами, без разбору и счету, при жизни увидел лишь книжечку с начальными главами Печорина – первый сборничек вышел в год его гибели.

Нет, Пушкин, пожалуй бы, не перевернулся: он и сам жил в долгах, как в шелках. И делал их с громадной, птичьей ловкостью многодетного семьянина. Самую антимонархическую книгу – «Историю Пугачева» – исхитрился издать практически на монаршьи заемные деньги. Иное дело Лермонтов. У этого мальчика земных долгов не было – только небесные, в уплату которых пошла и сама его жизнь. Все остальное, брэнное в его существовании взяла на себя, как известно, его бабушка, Елизавета Алексеевна. Жар, с которым несла она одинокое свое родительство, тоже позволяет думать о некоем страстном послушании, о восполнении чьих-то, чужих или родовых, долгов, первоначального исходного объема любви, недоданного в свое время этому навсегда печальному, отверженному отроку: не зря в тарханском доме с Мишеля рисовали не только портреты, но и иконы тоже.

Счастливо опустошаясь, мы вливаем в женщину крайний глоток любви; она же, оплодотворяя, одухотворяя и в чем-то преображая его, потом равномерно выдыхает, нежно пеленает им, как благодатным первоцветом, на протяжении всего судьбой отмеренного ей срока сопредельного проживания на белом свете эту совместно воспроизведенную жизнь.

А тут – живительное дыхание пресеклось едва ли не на первом вздохе...

Нет, пожалуй, в России второго такого поэта, кроме Лермонтова, так часто заглядывавшегося на небо – еще и потому, наверное, что под ногами у него всегда было твердо и сухо. Первым лучшим романом на русском языке назвал «Героя нашего времени» Фаддей Булгарин. Том этот «для рецензирования» послала ему Елизавета Алексеевна, сопровождая посылочку... пятистами рублями ассигнациями.

Если правда, что выстрел грянул одновременно с грозой, то убил его не Мартынов: просто небо взяло свое...

Муса импонирует Сергею, который убежден: с этим народом надо мириться, искать то, что их соединяет, а не отталкивает, не накапливать ненависть, которой и так сейчас – и помимо чеченцев – предостаточно: не страна, а пороховой погреб и едва ли не каждый ее обитатель – ходячий тлеющий фитиль. Однажды по телевидению Сергей увидел, как по жестокой грязи, подцепив тросами к танку, волокут тела убитых чеченцев, «боевиков». И внутренне ахнул: такое не простится никогда! – он знает этих людей, этот народ, жил с ними бок о бок и в Ногайской степи, и в интернате, где их особенно много появилось после Дагестанского землетрясения 1962 года (все войны и землетрясения начинаются грозным ревом, подземным грохотом, а завершаются детским, сиротским плачем), и в армии. Не простят! Может быть, действительно нельзя было извлечь из траншей и расселин трупы иначе, «вручную» и доставить их к месту захоронения. Вполне вероятно, что и зла, русской крови на этой банде немерено, что допекла она, достала, что делалось это не для камеры, а в горячке боя – и все же. Не простят. И дети будут помнить, и внуки, и правнуки.

Не снимали б тогда, что ли. А если снимали, чтоб запугать, застрашать живых, то это еще более опасная глупость: не на тех напали.

И все-таки самое страшное не это. Жестокость, бесчеловечность вползает в нашу повседневность. Зарождаясь с отношения к врагу, самооправдываясь, перекидывается, как болезнь, и на все вокруг и внутрь каждого из нас. Зачастую уже и не осознаваемая таковой.

Трупным ядом веет над Россией.

Несколькими месяцами позже вновь увидел сходную картину. Тоже по ящику. Но теперь уже не из Чечни, а прямо из Москвы. Из Шереметьево. Ворота страны, ее визитная карточка. Разбился Артем Боровик, журналист и издатель – к слову говоря, вместе с чеченским нефтяным магнатом Зией Бажаевым, на его, Бажаева, самолете. В этот же день, двумя часами позже, Сергей и сам приземлялся, вместе с дочерью, в этом же аэропорту, но картину катастрофы – или после катастрофы – наблюдал, слава Богу, уже не вживую. Девятое марта, гололед. Но никакой непролазной грязи, тем более на взлетной полосе, ничего экстремального, что не позволяло бы (может быть, вытаскивая трупы, в Чечне опасались снайперских пуль, потому и скрывались в броне?) спокойно, на носилках перенести тела погибших в надлежащее место. По-людски. Нет. Их тоже – свои своих – тащили волоком! Жестокость нарастает, как нарастает исподволь глухота или – одевая коростой живое – катаракта... И мы уже перестаем видеть и слышать ее. Вокруг. В самих себе. Привыкли.

И если есть люди, представители противоборствующего народа, вышагивающие из этого круга ненависти, им надо тотчас, убежден Сергей, подавать руку. Пока это, несомненно, одиночки. Но это ненависть приходит ко всем разом, преодоление же ее, как и прозрение вообще, процесс интимный, он, возможно, и достигается-то лишь одиночеством. И такая рука не должна повиснуть в воздухе без встречного жеста доброй воли. Дружат не народы – они лишь воюют – дружат отдельные, конкретные люди: такова еще одна горькая истина, вынесенная Сергеем из этих полутора десятков лет.

Сергей не преувеличивает свою дружбой с Мусой. Не возводит ее в национальную степень. Но и не преуменьшает тоже. Муса, как и Сергей, любит Лермонтова (впрочем, найдите чеченца, который не любил бы Лермонтова, они даже веруют, что в поэте течёт и чеченская кровь). Удивительное дело! В бою Лермонтов был горяч, полон азарта и, конечно же, неподдельного, нелитературного запала, ненависти – командовал сотней «охотников», иными, современными словами, «спецназовцев», что даже форму игнорировали, выражались, кто во что горазд. Вот характеристики разных, в том числе и по отношению к Лермонтову, принявшего свою сотню из-под руки легендарного бреттера Руфина Дорохова, когда тот получил очередное боевое ранение, очевидцев и сослуживцев:

«Лермонтов собрал какую-то шайку грязных головорезов. Они не признавали огнестрельного оружия, врывались в неприятельские аулы, вели партизанскую войну и именовались громким именем Лермонтовского отряда...»

«...В этот миг увидел возле себя Лермонтова, который словно из земли вырос с своей командой. И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, чтоб кинуться на горцев...»

В красной шелковой рубахе с косым воротом. Не по форме, не по форме, Михаил Юрьевич. Прямо-таки провозвестник Есенина и Шукшина.

Как видим, поручик Тенгинского пехотного полка вполне самозабвенно занимался тем, что сегодня грамотно определяют как наведение конституционного порядка в Чечне, а позавчера с солдатской прямоотой именовали «усмирением». И тем не менее – любят. Может, потому что и он любил их. И мирных, среди которых были и его кунаки, и не очень. Во всяком

случае ни в одном произведении не дал взять над собой, в себе верх инерции боя, шоковой инерции ненависти: никто не оставил миру – и самим же чеченцам в том числе – их столь одухотворенные и даже идеализированные образы, как поручик, партизан, спецназовец, бреттёр, врывающийся в аулы, Лермонтов. Особенно женские...

Когда один хороший Серегин товарищ, полковник, командир полка, молодой еще, но совершенно несгораемый, дубового кроя, шкаф с нашивками за ранения, рассказывает, вернувшись из очередной «командировки» (еще какой сгораемый – с лица его круглый год не слезает дубленый, кумачовый горный загар: то летний, то зимний, почти горнолыжный, ибо командируют его на юг с его спецназовским полком и когда водка теплая, и когда ох как студеная) рассказывает о стычках с чеченцами, то заканчивает всегда почему-то одной и той же раздумчивой фразой:

– Духовитый народ....

Вполне лермонтовской.

...Футбольная команда «Динамо» играла с ЦСКА. По телевизору шла прямая трансляция игры. Серегин несгораемый шкаф был тогда еще довольно худощавой армейской тумбочкой. Но у него, тогда еще командира батальона, уже имелась неплохо оборудованная штабная землянка, в которой даже телевизор наличествовал. Весь офицерско-прапорщицкий состав батальона в землянку набился, некоторые спины, не вмещаясь, даже в притолоке торчали. Войска-то внутренние, и «Динамо» – самая что ни на есть единокровная команда. Грех не воткнуть заклятым друзьям – соперникам! Болели за своих не просто до хрипоты, а до натуральных салютов. Каждый динамовский гол отмечали залпом приданной батальону миномётной батареи. Команда «Пли!» прямо по спинам, как по бикфордову шнуру, и бежала, пригнувшись, от самого экрана, от комбата непосредственно в жизнь. То есть – к юному лейтенантику, который стоял, раздваиваясь душой и телом, между землянкой и батареей и только по этим животрепещущим потным командам и ощущал перипетии знаменательного матча между ВВ и ВС. После двух залпов тот же лейтенантик по тем же спинам и сообщил комбату, что в распоряжение батальона, прямо к землянке, явилась делегация старейшин одного из ближайших чеченских сёл.

– Что там еще за делегация? – нехотя вылез, оторвавшись от почетного места на устланном хвоей земляном полу, из парной землянки комбат. Действительно перед самым входом стояла группа стариков в мерлушковых папах. Завидев старшего, кланяться не стали, но правые ладони, все как один, к левой стороне груди прилежно приложили.

– Слушай, сынок, – начал самый старший из них. – И вот эти мои ровесники, и все наше село, даже неразумные дети, тоже болеют поголовно за «Динамо». Поверни, пожалуйста, минометы в какую-нибудь другую сторону...

Комбат засмеялся и позвал их внутрь своей командирской землянки, хотя и были те совершенно непьющие.

Вот вам и гражданская война в России, на Кавказе, – во всей ее красе...

Не поехать с Мусой Сергей не мог и по самой главной причине: у Мусы работает Воронин.

## ГЛАВА II

### СОЛДАТСКОЕ ПОЛЕ

В 1973 году Сергея назначили собкором «Комсомольской правды» по Волгоградской и Астраханской областям и Калмыцкой автономной республике. Если и были в его жизни моменты карьерного счастья, то это один из них. Самый явственный – назначение в «Комсомолку». И скитаясь по районным газетам, и работая уже в Ставрополе, Сергей держал в мечтах «Комсомолку». Не «Правду», не «Известия» – именно ее. И не только в силу совершенной уже недоступности последних: эти газеты, подозревал Сергей, требовали совсем других анкетных данных, нежели те, какими располагал он. Нет. «Комсомолка» тех лет соединяла в себе литературу и публицистику, обладала особым языком, которым восхищался и к которому исподволь тяготел и Сергей, ее интонация отличалась от возвышенного единогласия всех остальных центральных изданий ровно настолько, насколько интонация в затемненном зрительном зале отличается от интонаций рампы.

Эта правда была не только комсомольской, но до известной степени и человеческой.

Возможно поэтому журналисты «Комсомольской правды» по известности побивали писателей (самые «человеческие» из которых писали, как правило, о прошлом, отдавая настоящее на растерзание, вернее, сдержанное возвеличивание своим подмастерьям, выходявшим

в основном из неудавшихся журналистов, по каковой причине удавшиеся и били их по всем статьям) и даже нарождавшихся тогда телевизионных звезд – самые же популярные из них и сами уже пробовали себя в магическом кристалле, в который страна начинала впериваться с завоораживающим исступлением тронутости: вот-вот покажут пальчик.

И такая, скажу вам, дуля в конце концов оттуда вылезла!..

Еще до армии, в шестьдесят восьмом, Сергей побывал в «Комсомолке» на стажировке. Примерился. Недели две провел в отделе литературы, которым командовал тогда немного славянофильствующий, из рязанских-ивановских, поэт Геннадий Серебряков. Интеллигентный, застенчивый, рано, к сожалению, умерший. Поскольку параллельно Сергей сдавал сессию в университете (таким образом редакция «Молодого ленинца», командировав его из Ставрополя Москву, просто подсобила ему деньгами и вместе с тем сэкономила на гостинице, потому как жил Сергей в университетском общежитии) и выезжать никуда не мог, его приладили обрабатывать письма трудящихся. Однажды, после какого-то шума наверху и бурной планерки у главного, на которой Сергей, разумеется, не присутствовал – не по чину – велели срочно подготовить подборку против засилья западной эстрадной музыки и «Битлз» в частности в пользу отечественного, желательно хорového, вживую, без магнитофонов, оравших в каждой подворотне, пения. Задание передал на бегу – он почему-то всегда появлялся в отделе на бегу, впопыхах – Серебряков. Сергей слепил горбатого в два счета: в массе писем, приходящих в редакцию, можно было отыскать филиппики на все случаи жизни – хоть супротив Папы Римского. Но Серебрякова к тому времени в кабинете уже не было. Сергея вместе с подборкой вызвал к себе зам. главного редактора, курировавший литературу и искусство (sic!) Феликс Овчаренко. Это был уже натуральный, рафинированный славянофил. Вычесанный, выглаженный, великолепно образованный. Не посконное, а, напротив, нечто элитарное, сибаритственное было в нем. Сергей примостился на краешек дивана и стал ждать: Феликс, как и его железный тезка, читал.

Прочитал, сведя чернявые брови, раз, полистал, прочитал еще.

– А вы сами-то верите? – взглянул на Сергея, уверенного, что сделал все в лучшем виде.

– Во что? – спросил ошеломленный практикант, уже заподозривший что-то насчет Бога: славянофил все-таки.

– Да в то, что написали.

– Это не я писал, – произнес Сергей внятно. – Это – народ.

Так что что «все» было вполне оправданно: н а р о д .

– Ну да, – согласился Феликс, смял Серегины листки и выкинул, не глядя, как баскетболист экстр-класса – сколько всего нетленного туда спровадил! – в корзину, стоявшую где-то под громадным столом, под ногами, – народ. Идите.

Народный прозаический эпос – выкинул.

Сергей встал и, задумчивый, вышел вон. Оно, конечно, в почте «Комсомольской правды» в любой момент при желании можно отыскать письма на все случаи жизни – и все они будут

от народа. Но все-таки в странных взаимоотношениях находятся иногда с ним, народом, его народники. В странных.

Славянофилы, даже сдержанно предводительствуемые в одно время патриархом Василием Михайловичем Песковым, никогда не составляли в «Комсомолке» большинства. Главный редактор, случалось, бывал из славянофилов, редакция же все равно жила по своим законам. Тот же Феликс Овчаренко был прислан сюда «на укрепление» после на шумевшей (любой шум начинался, как правило, не снизу, не из читательских масс, а сверху, и в этом плане все знаменитости «Комсомолки» созданы, слеплены непосредственно в ЦК КПСС) левацкой статьи о театре, в которой усмотрели, видимо, симптомы «Пражской весны» в Москве.

И, казалось, кто мешал ему хотя бы в данном конкретном случае воспользоваться поддержкой сверху во имя собственных почвеннических идей – ведь в партизанской войне меньшинства с большинством нет запретных приемов. Не воспользовался. Кремлевская геронтократия семидесятых – первой половины восьмидесятых, возможно уже в силу своего поголовно рабоче-крестьянского происхождения, а возможно, из тайного, осторожного подражания Сталину, который на все времена и всем поколениям своих преемников оставил в Кремле едкую свою кошачью метку, и те, уже полстолетия, оглянувшись предварительно, не застывает ли кто, украдкой приноживаются-таки, примеряются к ней – исподволь тяготели к умеренному славянофильству. Но так было далеко не всегда – и не только в новейшей истории. Тем не менее и исторически сложившееся западническое большинство в «Комсомолке» тоже никогда, даже при смене курсов, которая не случалась в одночасье, а вызревала подкововерно, годами, выхлестывая иногда преждевременными указивками, не прибегало к помощи верхов, официоза, чтобы потеснить путавшихся под ногами «меньшевиков». К верхам любой ориентации и те и другие относились одинаково подозрительно.

Нигде, наверное, противоборствующие идеи не были столь идеалистичны, а спорщики, регулярно сходящиеся лоб в лоб то на летучках в «Голубом зале», то просто за стаканом вина в крошечных кабинетиках, на которые, как на соты, иссечен длинный редакционный коридор, столь бескорыстны, как в «Комсомольской правде» тех лет...

Этот эпизод, в котором Сергей выглядел не лучшим образом, как ни странно, только подогрел желание попасть в «Комсомолку». Реабилитироваться?

Перед Феликсом Овчаренко реабилитироваться поздно: он пробыл в «Комсомолке» недолго, перешел в журнал «Молодая гвардия», видимо, более соответствовавший его воззрениям, и вскоре тоже, к сожалению, умер от раковой опухоли.

Второй раз на знаменитом шестом этаже Сергей оказался только в семьдесят третьем, уже отслужив два года в армии и сделав неплохую карьеру в ставропольской молодежи. Выполнял разовые задания редакции, писал заметки на потребу дня, и его вызвали на смотрины.

Из предыдущего своего пребывания на этаже Сергей сделал два кардинальных вывода.

Первый. Никакого совместительства с экзаменами. Черт с ним, с университетом! – вон Песков ничего, кроме школы, не заканчивал, а знаменит как Тургенев. И, надо сказать, и впрямь едва не сравнялся и с Песковым, и с Тургеневым, ибо университет закончил лишь на девятом году обучения, в семьдесят пятом, будучи уже заведующим отделом «Комсомолки», москвичом. А малограмотную тещу свою застал однажды за странным занятием: баюкала

внучку, держа перед глазами, взятыми под стражу парой допотопных пластмассовых наручников со сталинитовыми стеклами, газету, «Комсомолку», и читая в ней вслух, нараспев, заголовки – все, что мельче, даже со сталинитом, разобрать не могла.

– Жили у бабуся два веселых гуся... – это папа твой написал.

– С ы ш ы а: жизнь взаимы, – тоже папа...

В общем, все, что обозначено поддающимся сталиниту кеглем, было щедро приписано Сереге: с первой полосы по четвертую. Фамилии авторов по причине их малозаметности на полосе наручниками не воспринимались и в расчет тещей не брались. Сергей постоял-постоял на пороге, тоже не воспринятый, как и подписи, ни бабулей, ни внучкой, хотя кегль в данном случае имел вполне порядочный, да и попятился, давась хохотом, потихонечку назад.

Согласитесь, снискать популярность у половины мира все же проще, чем у собственной тещи. И еще неизвестно, кто был популярнее в данный момент: Иван Сергеевич Тургенев или Сергей Никитович Гусев: ведь у Тургенева, как известно, тещи никогда не было.

...Вывод второй: никакого литературного отдела! Таким, как Серега, провинциалам, интеллигентам в первом поколении (а интеллектуалам – лишь в собственных детях) в «Комсомолку», если хотят задержаться, освоиться здесь, надо входить не через эту дверь. Эта – для других. Для тех, кто сызмальства не ходит по земле, не топчет ее подневно, а безмятежно порхает, чаще всего, правда, тоже ласково ведомый шелковой невидимой ниточкой на замечательно волосатой руке, с каковой и соединяет его эта нежная пуповина, – никогда дверь не ошибутся. Впорхнут, куда надо. Два отдела есть для таких, как Сергей: рабочий и сельский, через которые можно выброситься со временем – руки крестом – в большую столичную журналистику. Тесными вратами приходят – покойные счастливчики – в рай. А эти две калиточки и есть две разборчивые дыхательные дырочки в «Комсомолке»: вдохнет и, если не выдохнет через минуту или не выплюнет через пять – глядишь, и удержишься, а там пронесет тебя с годами по всем коридорам, закоулкам и кабинетам большого организма, и выйдешь ты в надлежащем месте и в надлежащем, уже совершенно столичном виде, в большую, нередко даже политическую, жизнь, готовый к потреблению всеми, а не только сельским или рабочим, отделами на свете, вплоть до отделов большого, то есть не комсомольского, ЦК.

Масса народу в «Комсомолке» разбирается в литературе и искусстве.

Еще больше – в человеческих жалобах, письмах и столах.

Новости – кто же не разбирается в новостях? Особенно хороших, которыми были полны под завязку газеты тех лет.

Даже в промышленности, вычислил Сергей, конкурентов у него будет больше, чем в селе: как-никак Москва, промышленный центр, вон и на машинах, на вшивеньких «москвичах», которые никуда дальше Кушки не шли, и то на багажнике заносчиво обозначено: «Moskvich». Любой «moskvich», особенно с окраины, – потенциальный соперник по части жизнеописания рабочего класса. Другое дело село, из которого он стремился в свое время удрать, вылезти, как из собственной кожи. Покажи любому, даже самому раззолоченному перу «Комсомолки» пшеничный и просяной колос – не отличит, хотя болью народа живет регулярно: по пятым и двадцатым. Сергей же колосья различал и с этим фундаментальным знанием очертя голову

ринулся в сельский отдел – в единственно доступную ему прорубь «Комсомолки», многолетним привратником при которой состоял самый пафосный и великовозрастный романтик «Комсомольской правды» незабвенный Владимир Ильич Онищенко, который еще лучше, чем в злаковых, разбирался в злачных: «Пшеничную» от «коленвала» отличал с пол-оборота. Дай Бог ему здоровья: не одному поколению «nemoscvicey» дал он, пользуясь привилегированным положением редактора отдела, куратора сельской темы, в которой мало кто смыслил из еще более крупного редакционного начальства, и просто крутостью своего характера, путевку в комсомольско-московскую жизнь.

Сергей напросился в сельский и сразу же – в командировку, в Казахстан, на целину. Месяц, как запаленный, мотался по степям и передавал из райцентров по телефону заметки в стенбюро «Комсомольской правды». Как пригодились, что когда-то на интернатских каникулах пришлось поработать и на комбайне, и на тракторе! – как только, знакомясь с механизаторами, называл соломокопнитель соломокопнителем, а шнек шнеком, а не какой-то там жестяной трубой, так собеседники его сразу были согласны, чтоб он диктовал в Москву все, что посчитает нужным – даже за их подписью.

Кожа, шкура дубленая никола-александровская выручала.

Газет он, конечно, не видал, но заметки, оказывается, печатались регулярно. Еще бы: сам Онищенко, мэтр и ветеран, честно говоря, тоже не очень обремененный знанием материальной части вверенной ему сельскохозяйственной сферы – еще и потому, что свято верил в превосходство нематериального, духа, вечного над насущным, пробивал их на полосу.

Сергея взяли, приняли и, вскоре после того, как окончательно отмылся от едкой, йодистой целинной пыли, отправили собкором в Волгоград. Именно сюда, на Волгу, по которой сейчас так респектабельно скользит, а двадцать пять лет назад, во времена собкорства, пожалуй, и не искупался ни разу как следует: не до того было – в Москву продирался.

Да, окончательный путь на Москву для него пролегал через Волгоград.

Здесь и познакомился с Ворониным.

\* \* \*

Собственно, услышал о нем еще в Москве.

Собкор – должность уединенная и, в общем-то, уязвимая. Живет человек в республиканском, краевом или областном центре, шлет заметки в свою центральную газету, в Москву, получая оттуда зарплату и гонорар. Но все остальное – квартиру, машину, телефон – ему выделяют местные власти. Редакция ждет от него не абы каких материалов, а в первую очередь острых, критических – ведь он, по московским понятиям, находится в гуще жизни, можно сказать, на самом ее доньшке, и кто же быстрее собкора может слепить и передать в редакцию материал о каких-то ее, жизни, несовершенствах? Собкору нередко прямо из Москвы, из центра, и рекомендуют, какие именно несовершенства отразить и обличить. Газета, полоса без «острого» – не газета и не полоса, острое же московского происхождения нередко само куса-

ется: редакционное начальство и просто редакционный служивый народ тоже ведь и квартиры, и телефоны, и машины получают, как и собкор, от местных властей.

Только местность у них другая: Москва называется. Лишний раз ее лучше не трогать, не дразнить: бо-ольшой встречный иной раз случается. Еще и хуком, самым коварным канди-бобером могут зайти: через ЦК комсомола, а то и ЦК партии. А республика или, там, край, область все-таки далеко. Пока добежит ответный гнев по проводам, глядишь, и рассосется. К тому же первый объект гнева, так сказать, форпост, надежда правды и справедливости, он там, на месте, под высокой столичной рукой. Есть кому принять – волнорезом – набежавшую волну, им же, к слову говоря, и вызванную.

Положение собкора – это положение голосистого сверчка на наковальне. Будешь петь не то (что необходимо редакции: чрезмерно хвалить место обитания, наковальню то есть) – молотом станет редакция: мол, сжился, скумился. Станешь петь не то (что необходимо наковальне: брать исключительно смелые, высокие октавы, не только с местным комсомолом, но и с местной, повсеместной партией задираться) – молотом станет наковальня. Передергивает факты, очернительством занимается, шестую статью Конституции (кто ее помнит сейчас?) нарушает: уволить по требованию местного партийного комитета.

Да что уволить? Не дать квартиру, машину, телефон. Что там еще можно не дать или лучше – отобрать? Во-он сколько полутонов во взаимоотношениях собкора и местной власти. Пой, птичка, пой, да только в строго благоразумном регистре.

Сергей еще в редакции, на стажировке наслушался об этих тонкостях собкоровской жизни, к которой так стремился. Виктор Степаненко, дородный, пожилой, спокойный и независимый, заходивший в ставропольский «Молодой ленинец» исключительно для того, чтоб еще кого-нибудь из «младоленинцев», как он их называл, надрать в шахматишки, собкор самой «Комсомолки», написавший репортаж о многокилометровых перегонах овечьих отар на Черные земли, на отгонные пастбища, репортаж, изумивший Сергея двумя моментами: почему это он сам, Серега, не додумался до этой романтической темы, хотя знал ее – подошвами – получше «Степы» (это в отместку за «младоленинцев») и заголовком: «Пешком по небу» (вот это и есть столичный литературный блеск), этот самый Стёпа многие годы был его кумиром – и в письме, и в жизни, вернее, в статусе. Свободен, свободен, свободен! Оказалось, не совсем так – его наконец просветили: Степа– то, чтоб не терять вальяжности, не признавался.

Особо отговаривали от Волгограда, потому что там – Воронин. Люсьена Овчинникова, еще одна романтическая и трогательная сивилла «Комсомолки», помнившая еще Сталинградскую битву, даже в кабинетик, где он ошивался, зашла после его утверждения:

– Будь осторожен. Это тебе не Рязань и не какой-нибудь Семипалатинск. Это – Воронин.

Как будто Воронин и был – Волгоград.

Люсьена, умная, пожилая, одинокая, знала все – и даже Воронина.

– Это новая генерация, – сказала Люсьена, обдавая чернотой всезнающих печальных глаз. – Их на мякине не проведешь. Будь умен, как Воронин.

Воронин был первым секретарем Волгоградского обкома комсомола – только что избранным.

Сергей же был новым собкором по этому региону, в который, кроме Волгоградской, входили еще и Астраханская область, и Калмыкия, в общем, если не две, то полторы Франции точно. Хазария. Только что назначенным, утвержденным ЦК комсомола. В общем, исходная позиция была вполне подходящей если и не для быка и тореро, то для двух бычков несомненно, ибо работа едва ли не каждого собкора «Комсомолки» сопряжена с борьбой – самые brutальные из них при известном потакании столичного «этажа» даже находили упоение в этом нескончаемом «бою». Бывали даже случаи, когда работа как таковая борьбой и исчерпывалась. Двух-трех таких собкоров, чье творчество было загадочно, потому что неизвестно (или известно читателям позапрошлых поколений) держали как бойцовых петухов – во имя масти. Время от времени появляясь в Москве, они и здесь, на этаже, разгуливали в хорошо усвоенных позах – грудь колесом и правая, ударная, как у Ленина, за пазухой. Удивительно: некоторые из них умудрялись собачиться с местным начальством, особенно комсомольским, за пределами газетных полос. Ни строки от него нету, а скандал идет, набирает обороты.

– Собираю факты, – важно заявлял такой собкор, если его вызывали-таки в «Голубой зал», где проходили заседания редколлегии, для отчета.

И редколлегия снисходительно склоняла коллективную главу: факты, понимаешь ли, упрямая вещь. Иной собкор, как червяк в яблоке, так и застревал в этой фазе: сбора фактов. И чувствовал себя, как и сытенький, сочный, но вполне трудолюбивый житель плодовых недр, весьма уютно. Наука показала, что плодовый червяк на девяносто процентов состоит из яблочной (или что там еще точит) мякоти. Так и собкор-лежебока: на девяносто процентов состоял из «фактов». Лень – разновидность ненависти, ибо далеко не у каждого пишущего рука тянется к перу, а перо к бумаге. Как раз у самых одаренных есть, обязательно существует этап полной, отчетливой ненависти, отвращения к самому процессу письма, особенно – к его началу. Сергей и сам регулярно испытывал эти почти физиологические приступы, но умел собраться, сгруппироваться и преодолевал их: увы, он так же отчетливо, физиологически знал, чувствовал, что это единственная профессия – водить пером по бумаге, – которой он в этой жизни владеет.

И каждый раз потихоньку, со скрипом, как малограмотный, расписывался – и изжога, астения где-то внутри, не только в мозгах, проходила. Его же друзья, и порой закадычные, взять эту невидимую планку – деятельного скрипа пером, превращения изысканно содержательных мозгов своих в утилитарную чернильницу, в которую следует исправно макать самописку и выуживать оттуда что-то конкретное и в меру пошное, – не могли годами.

Это посредственность пишет, как дышит: легко, обильно, испражняясь и вдыхая вновь. Попробуйте привязать облако к земле и поймете, как трудно пишется-дышится всем остальным.

Немудрено, что самые талантливые и закосневали чаще всего в тихой ненависти-лености перед авторучкой, что бывает-таки, вопреки мнению простонародья, тяжелее лома.

Едучи собкором в Волгоград, тем более после люсьеновских наставлений, Сергей тоже настраивался на борьбу. Но все сложилось иначе. Ошиблась Люсьена.

Воронин сделал его по-настоящему знаменитым – на несколько месяцев.

\* \* \*

Воронин разгадал Сергея с первого взгляда. Понял, что в Волгограде он не жилец. Что ничем он здесь не обрстет, не укоренится. Не заживет, как шелкопряд, здешней жизнью, пропуская ее через себя, сквозь туннельную черноту, соединяющую вход и выхлоп, и перерабатывая ее в нечто полезное для человечества. Нет. Транзит. Вождеденный транзит! – прочитал насмешливо Воронин в Серегиных лихорадочных глазах. Все устремления – поверх здешней жизни и даже жизни в целом, куда-то в сторону Москвы, где по представлениям таких вот лихорадочных только и начинается та самая жизнь, что достойна не только осознания, но и воображения. И другое разглядел Воронин в Сергее с первой встречи в своем официозном, лишенном каких-либо индивидуальных примет кабинете. Тысячи подобных кирпично удлиненных кабинетов выстроились в воздушном пространстве страны, заключая в себя, запаивая и холодный воздух власти, ячейками которой они являлись, и саму ее аскетическую конструкцию: ячеистая, как Стена Плача, стенка эта во всю свою невероятную высоту, шар за шаром, как говорят каменщики и могильщики, являла миру запеченных в ее янтарных нежных внутренностях породистых мужиков в галстуках – вплоть до главного, до Леонида Ильича, регулярно выглядывавшего, правда, уже не натурально, не вживе, а, как и положено всевышнему, из газет и телевизора, экран которого также напоминал чем-то матово отсвечивающий персональный апартамент. В кабинет этот Сергея привел Володя Поляков, гибкий, трепетный, поскольку тоже всегда между молотом и наковальней, между редакцией и собкором, заведующий корсетью «Комсомольской правды» – представить первому секретарю.

И Воронин сразу глянул Сереге в самую душу. Вроде душу и привели ему сюда на веревочке. На смотрины.

И то другое, что сразу же разглядел в Сереге Воронин, было следующее.

Перед ним сидела, скромно приткнувшись за полированным столом, не жизнь. Это даже правильнее писать через черточку: «не-жизнь».

Сергей, определил с ходу Воронин, делал биографию.

Воронин же делал карьеру и не собирался отвлекаться на Сергея. Ко времени их знакомства ему было лет тридцать пять. Он был хорошо образован – окончил с отличием строительный институт и учился заочно в Высшей партшколе – и щеголеват. Твердый, выпуклый, как шляпка у гвоздя, который все привык добывать головой, лоб, тяжелые, профессорские очки, хорошие, не провинциальные костюмы. Он был сдержан не только с Сергеем – водку в кабинете, задернув шторы, не разливал, в лесополосе с «активом» не рассиживался, не горлачил спяну казачьи песни, хотя, как позже убедился Сергей, знал их неплохо. Та самая простота, что хуже воровства, в нем напрочь отсутствовала. Таких нередко остерегаются даже в своей братии: то, что народ в массе своей воспринимает как службу, как нахабу и не стесняется такого своего восприятия и даже, самые раскованные и рискованные, кичатся им, эти, молчаливо мнящие себя чьими-то, не народа ли? – избранниками, воспринимают как служение. Путают грешное с праведным.

Воронин даже не служил – готовился к служению, что бывает еще заметнее. Проходил обязательное комсомольское послушание – перед тем, как принять партийный постриг. Не хозяйственный воротила, не высокопоставленный бонза советских органов – Воронин видел себя только в партии.

У него и вид был великовозрастного послушника: на все пуговицы застегнут, голова почтительно склоняется набок, но серые глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, счастливой слезой не тают и голос почему-то не дрожит.

Его любил и выделял первый секретарь обкома партии Куличенко. Но любил и выделял в первую очередь как не похожего на него самого, тяжелого, словно чугунная чушка, каковой заколачивают сваи, с подтаявшими висками, закоренелого «практика», что академиев не кончал, но связан с жизнью, подогнан к ней вплотную: с подчиненными яр, однако высокого московского начальства боится почему-то неистребимо, о чем, правда, догадывается одна лишь тяжелая, самая тяжелая телефонная трубка, ибо, как только зазвонит «вэчэ», первый выставил из кабинета кого бы то ни было, даже помощника, что только что составлял ему речь.

В таких ответственных разговорах и без помощников обойдемся. Сами составим.

Непохожего не только на него самого, но и на его, Куличенко, ближайшее окружение, тоже зажелезившееся, но с предательским школярским голосником в дородном, хорошо обшитом, словно ватой обложенном нутре: чуть рявкнешь, расслабившись, и человек уже дрожит, как лист перед травой.

И вата, самое удивительное, подрагивает, будто не голосом, а хорошим арапником по ней прошлись. Несовершенен, несовершенен, что ни говори, человеческий материал. Надо бы человека из другого матерьяла месить, – чтобы больше на человека походил.

Этот– другой.

Куличенко присмотрел парня еще в райкоме комсомола и потихонечку, исподтишка «вел» его: ему почему-то хотелось, чтобы со временем, со временем, конечно, на смену ему, крутой, целинной закваски Хозяину, Отцу – его так и звали в области в зависимости от конкретных обстоятельств и крутизны наклона: по стойке «смирно» или «расслабиться» – пришел именно этот. Как бы сын.

Другой.

Не первая зима на волка, и что-то подсказывало Старому Волку: чтобы дело не лопнуло, не обернулось швахом, на смену им, старым и стреляным, должны придти вот такие, образованные, спокойные и нестреляные. Без дрожи в коленках.

Куличенко настораживало спесивое воспроизводство себе подобных. Знал, шкурой чувствовал: это даже не партийное, а генетическое – вырождение.

И, забегая вперед, надо сказать: он, ничего не говоря Воронину о задуманном, почти довел его до заветной, и для Воронина втайне тоже, – цели. Сделал со временем секретарем обкома партии по идеологии, а затем – у какого же Первого нет в Москве не только своей руки, но и своих клеветов! – и сотрудником Орготдела ЦК КПСС.

Из Орготдела путь один – только в Первые. Со временем, конечно, со временем: нас пока тоже списывать рановато.

Да другие подросли перемены: с первого на горячее.

Коня куют, а жаба лапу задирает.

У Сергея сложились с Ворониным ровные, доброжелательные отношения. Воронин внимательно следил за всем, что печатал в «Комсомолке» Сергей, и находил возможность двумя-тремя нестертыми, недежурными словами, по телефону ли, при личной встрече, обмолвиться с ним о прочитанном. Очерки о молоденьких учительницах из глубинки – деревенские «кавалеры» не оставляли их своим вниманием даже в хатке, которую снимали четыре городских девчонки: с наступлением сумерек занимали позиции в кроне старого клена, росшего напротив их окон, и старались разглядеть сквозь тюлевые занавески укромную, юную жизнь пригожих горожанок, – о селекционерах с сортоиспытательной «арбузной» станции. О «следах» знаменитого путешественника и естествоиспытателя Палласа в заволжских степях.

О соленом озере Эльтон, на глинистом берегу которого догнивают деревянные останки построенной некогда по распоряжению Николая Второго кумысолечебницы для низших чинов русской армии, потерявших здоровье в русско-японской войне 1904-1905 годов. Правда, только ли от туберкулеза лечили на Эльтоне? Сергей навсегда запомнил картину, увиденную на озере, что на самой границе с Казахстаном, ранним-ранним утром. Мужчина, уже не парень, носит на руках женщину, тоже уже далеко не девочку. Озеро мелкое, с километр можно идти – и все не скроешься с головой. А утонуть и вовсе невозможно: на эльтонской воде лежишь, как на хорошей перине – не проваливаешься. Мужчина в трусах, а женщина так прямо в платье, он, тоже удерживая ее совершенно свободно на весу, долгими, медленными, как у большой степной птицы, кругами ходил со своей живой ношей метрах в пятидесяти от берега. Вода парила, становилась, наверное, еще солонее, восходящее солнце пронизывало, пропитывало этот парок, превращая его в зарю: пара словно бы и не касалась не только земли, но и воды. Брела, будто по Христовым следам. Не то по воде, не то, журавлиными кругами, уже в небесах. Тут не было баловства – скорее ворожба: двигались они молча, сосредоточенно, печально. Рядом, на берегу, стоял грузовичок, бензовоз – на нем они и приехали сюда. Сергей вопросительно посмотрел на сопровождавшего его в экскурсии секретаря райкома комсомола:

– Что это значит?

– Лечатся от бесплодия. Есть такое поверье: муж на заре должен пронести жену на руках по эльтонской воде...

Ну да. Потомки солдат русско-японской воевали в сороковых в русско-германскую – и их, количественно, на эту войну хватило.

В большинстве своем публикации эти к комсомолу отношения не имели, но их охотно ставили на полосу: Сергей попал в такт «Комсомолке», которая в те годы была все-таки в большей степени газетой писательской, нежели дежурно-комсомольской. Область присутствовала на ее страницах, и Воронин не толкал Сергея под локоть, не направлял его перо: мол, поближе к комсомольской жизни.

Сергей писал просто о жизни – пусть и в несколько беллетризованном представлении о ней – и Воронин, уроженец Волгоградской области, читая, сам задирает левую бровь: надо же!

\* \* \*

Однажды Сергей вышел на парализованного ветерана Великой Отечественной. Вообще-то, парализованных старых солдат в Волгограде, Сталинграде немало. Этот же необычный. Во-первых, относительно молодой: попал на войну, на флот, уже в самом конце ее, юнгой, сигнальщиком. Во-вторых, уже в начале пятидесятых служил действительную, старшиной, на трофейном итальянском линкоре «Юлий Цезарь», переименованном в «Новороссийск» – том самом, который в 1956 году, 25 октября, взорвался на собственных бочках неподалеку от севастопольских берегов. Тогда погибли сотни моряков – в задренном, чтоб линкор весь в течение получаса не ушел ко дну, машинном отделении пели перед смертью «Варяг», и песня проплетвала даже через броневые листы, – юнгу Великой Отечественной выкинуло взрывом за борт, и он, оглушенный, контуженный, несколько часов болтался в осенней морской воде.

Следствием чего, возможно, и стал недуг, накрывший с головой солдата, моряка в конце шестидесятых: у него насмерть заклинило суставы. Лежал, вытянувшись в струнку, словно погружался, солдатиком, по стойке «смирно» на последний подводный морской сбор. Лишь чуть-чуть поворачивалась голова, да проворачивались печальные провалившиеся глаза.

Был он одинок, жил, многолетне умирал в коммунальной квартире: соседи, жалеючи, на его же пенсию кормили его иногда с ложечки. Все остальные отправления были солдату уже ни к чему – в этой коммуналке заброшенного, ороговевшего Сергей его и нашел.

Самое же удивительное заключалось в том, что солдат – писал. Сочинял. До тихого ужаса похожий на Николая Островского, а еще больше – на саму смерть, принявшую по чьему-то недосмотру не женское, а мужское обличье, недвижимый, отощавший до того, что кости светились сквозь кожу, как на рентгеновском снимке, он часами ждал сердобольных старушек-соседей даже не с чайной ложечкой и пакетом кефира, а с тетрадкой и карандашом.

Тетрадка и карандаш были переходящими. Бабки подходили со снедью, а солдат печальным кутузовским глазом указывал им на тетрадь и карандаш, лежавшие возле него на тумбочке. Бабки вооружались очками и, мучительно припоминая орфографию – до пунктуации дело не доходило, – записывали то, что диктовал им сосед.

Солдат сочинял детскую книжку – о мальчишках предвоенного Сталинграда, о том, как, поначалу сбывшейся грезой, ворвалась война в их родной город, а потом, смертью и болью, и в их души. Солдат торопился – бабки не поспевали за ним.

Как ни странно, книжка получалась смешной: в ней действовали люди, шпионы и просто попугаи ара, передававшие мальчишкам шпионские тайные разговоры.

«Комсомольская правда» напечатала Сергеев репортаж под названием «Сигнальщик из 42-го» – о некогда юном сигнальщике Евгении Лесникове, который и сейчас, будучи неизлечимо больным, о чем-то отчаянно сигналил, сокровенном, из сороковых в семидесятые.

Реакция на публикацию была оглушительной. Воронин лично навестил солдата, раздобыл ему огромный, днепропетровского (почти как допетровского) производства магнитофон с дистанционным управлением – несколько пальцев на правой руке у Евгения Дмитриевича пока еще, слава богу, чуть-чуть двигались – прислал к нему пионервожатых с пионерами. Когда Сергей в следующий раз зашел к своему герою, он героя не узнал: вымытый, выхоленный, лежал тот на высоко взбитых, накрахмаленных подушках, статная белолицая красавица с повязанным набок, на манер яркой косыночки, галстуком вдохновляла его в качестве сидящей, с лирой, у изголовья музы – Сергей аж задохнулся от восхищения: муза имела чудные, полновесные формы наяды, бог знает с какой глубины вынырнувшей посреди холостяцкой коммуналки.

– Лучшая пионервожатая города! – подмигнул, удовлетворенно заметив Серегину ошеломление, засиявшим вдруг, словно и его отмыли, ласковым ртом отдышали, глазом враз помолодевший, подобранный под простынями фронтовик.

– Лучшая пионервожатая города... – улыбочиво повторила, представляясь и вставая со стула в полный, тоже полномерный, как и у ее белотелых гипсовых товарок в тогдашних городских парках, рост – и протянула ладонь лодочкой.

Сергей смущенно принял прохладный дар: господи, да у нее смеются не только голубые-голубые, почти бирюзовые, но и пальцы с твердыми, в тон галстуку, лакированными лепестками на концах посмеиваются тоже – мелким таким, нежно шевелящимся, отдаваясь где-то под ложечкой, смешком.

– ...лучшему корреспонденту лучшей газеты – салют! – пальцы, сомкнувшись, встали по стойке смирно над белокурой чалмой, невесомо осенявшей чистый и тоже, наверное, соблазнительно прохладный в эту невыносимую волгоградскую жару лоб.

– А вы откуда меня знаете?

– Городская знаменитость, кто же вас не знает?

– Ну да, – улыбнулся Сергей, – как городского сумасшедшего.

Пионеры, помогавшие на кухне, – солдатской посуды на всех явно не хватало, и ребята драили чашки на всю опалевшую от такой неожиданной известности квартиру – были потихонечку, гуськом выпровожены на улицу, по домам (можно подумать, они так и помчались туда – делать уроки), а прохладными руками старшей пионервожатой в комнатке Евгения Дмитриевича был сервирован табурет – с шампанским, с графинчиком, огурчиками-помидорчиками, деревенским салом (оказывается, лучшие пионервожатые родом оттуда же, откуда и лучшие корреспонденты сельского отдела «Комсомольской правды») – и придвинут вплотную к кровати больного, который на несколько минут даже показался выздоравливающим.

И к табурету были расторопно приставлены два венских стула, на которых уже тыщу лет никто не сидел.

И чайная ложка была заменена на столовую и до краев налита холодненькой из графинчика и даже – ни капельки не пролилось! – опустошена с молодецким криком.

И шампанское под местные лежебокие груши выпито дотла, и водочка – под сало-то! – ушла по назначению до полного вакуума в графинчике.

Коммунальные насельницы сбежались: солдат засмеялся! Чисто-чисто, по-мальчишески, по-пионерски. Мелко, чисто – воробьи за открытым окном дружно откликнулись маленькими крыльями. Сергей и пионервожатая не удивились: они-то знакомы с Евгением Дмитриевичем всего ничего. А бабульки сбежались, в дверь, как селедки, набились – они же тыщу лет солдатского смеха не слыхивали!

Вот вам и сигнал из сорок второго! Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступа-а-а-ет... Бабки и застыли – по местам. Из тела, покрытого панцирем, коростой боли, только что отмытого – ласковыми пионервожатскими, еще не забывшими малую родину в заботах о большой, руками – от грязи, ворвани и забывости, и вдруг – такой чистоты и юности звук.

Пришлось и бабулям налить – по такому-то случаю.

И Евгений Дмитриевич засмеялся еще разок.

Праздник удался: праздник действительности советской печати. Написано – и в дамках!

И даже имел для Сергея пленительное вечернее продолжение: пионер – он, оказывается, не только всем ребятам, но и всем-всем девчатам пример.

Воронин – разумеется, через Куличенко – добился вообще невозможного: Лесникову дали отдельную однокомнатную квартиру в центре города. И не просто в центре, а прямо на проспекте Мира. Что само по себе уже просилось на страницы «Комсомольской правды»: сигнальщик из сорок второго сигналил в очередной публикации уже не халам-балам, а непосредственно насчет мира во всем мире.

А появилась квартира, возможным стало совсем уже невероятное: появилась и жена. Ну да – самая обыкновенная, как у всех: та, что и пилит и, при необходимости, тачает. Крупная, выпуклая, строевых казачьих кровей. Под красное дерево крашенные волосы и сурьмой подведенные брови. Что-то в облике жены-атаманши подсказывало Сергею, что тут не обошлось и без его старшей пионервожатой. Есть старшие пионервожатые, а есть и совсем старшенькие – эта, похоже, и была из них. Из вчерашних – той же стати и той же отчаянной звонкоголосости. Работала в торговле, проштрафилась или ее подставили, угодила на несколько месяцев туда, где Макар телят не пас, вернулась по примерному поведению и, как бы продолжая чуть запоздало выбранную линию безупречности, сразу под венец. Сотрудники ЗАГСа на дом приехали: так любопытно было узнать, кто же это на инвалида польстился? Какой это у нее по счету был брак, Евгений Дмитриевич не интересовался – им, сигнальщикам, морским волкам это ни к чему: по морям, по волнам, нынче здесь, а завтра аж там – но с женой ему и впрямь повезло. Квартира враз заполнилась сильным грудным голосом – атаманша даже стирала, как и положено, с песней, от которой только подрагивала дверь ванной, а если была нараспашку, так подрагивали искусственного хрусталя подвески на люстре в коридоре – занавесочками, салфетками-рюшами, поскольку атаманша оказалась еще и рукодельницей, многостаночницей, обучившейся кой-чему полезному, домовитому вдали от дома и шума городского, – и детским щебетом, ибо вместе с женой в придачу получил сразу и внучку.

Дочка у атаманши тоже имелась – что же за мать-атаманша без красавицы дочки? – но она появлялась на проспекте Мира изредка, налётами: судя по всему, девочка ее, ангел в цыпках, произошла не из того по счету брака, в котором атаманская дочь состояла в данный момент, если, конечно, вообще состояла в законном и непогрешимом.

Излюбленной командой благоприобретенной, вслед за квартирой, было повелительное:

– К столу!

Касавшееся всех – и дочери, и внучки, и Жучки (тоже явилась вслед за главным приобретением), и гостей, включая Сергея, частенько навевывавшихся теперь (и стол тут играл не последнюю роль) к солдату, и пионеров, которых, несмотря на очевидную их теперешнюю, в свете кардинально изменившихся обстоятельств, ненужность, по-прежнему привечали в доме, и старшей пионервожатой, обернувшейся в какой-то момент младшей атаманской сестрой.

Не было сил противостоять возгласу и запаху, несшемуся еще в преддверии слов. Решительно все подымалось с места и рвалось в бой. Возьми она еще тоном зычнее, и солдат бы тоже вскочил, оправляя на ходу полувоенную – атаманша и одевать его старалась под Островского, что сигнальщику исподволь нравилось – рубаху-гимнастерку, и побежал бы в строй, то есть в тесный застольный круг, за которым взрослым, военнообязанным, даже фронтovou соточку неизменно нацеживали. Самопальную, но крепкую-крепкую и чабрецово ароматную, как будто из пышной атаманской груди непосредственно.

Но голосу, видать, все же не хватало: солдат только страдальческое, детское, с глубокой мальчишеской прогалинкой темя свое от подушки отрывал и обводил продышанным, вытяавшим взглядом гомонящий застольный круг, устраивавшийся, чтоб ему не скучно было, рядом с его кроватью. Соточку, как и положено, атаманша опрокидывала первой и крепенькой, твердой-таки, хотя и приятно округлой, десницей. Чтобы потом тут же, тою же самой, мелко-мелко рот свой, губы свои, вкусно выпяченные, словно и их подавала к общему столу, перекрестить и мелко-мелко же, совсем не своим, не атаманским голосом проговорить:

– Свят-свят...

Как будто что-то не то, что положено, изо рта выскочило или гром за окном прогремел.

Что там у них было за пределами общей видимости, в жестоком кругу болезни, никто не знает, но, похоже, сигнальщику из сорок второго тоже кое-что перепало из пышного, в меру запечатанного источника.

– Знаешь, врачи сказали, что у него все органы стали работать лучше, – заговорщически шепнула Сергею однажды, совсем-совсем наедине и совсем-совсем на ухо, его старшая провожатая по параллельным маршрутам жизни.

– Так уж и все? – усомнился, улыбнувшись, Сергей, на что получил вполне исчерпывающий ответ:

– Дурак!

И сочный поцелуй: дураков всегда целуют, пресекая опасное развитие их дурацкой любознательности: чтоб не спрашивали лишнее.

Что там заметили врачи – дай-то Бог, чтоб заметили, но факт остается фактом: атаманша наверняка продлила солдату жизнь. Без нее бы он умер раньше – процесс без нее шел гораздо резвее. А так скончался уже в конце восьмидесятых, когда Сергей давно уже работал в Москве. Прилететь на похороны не получилось, и он прилетел, когда на могиле уже стоял памятник.

– Вот, поставила, – сказала атаманша, концом платка промакивая слезу.

Сказала, как отчиталась.

Было начало лета, вокруг доцветала сирень, бледнея по ходу сгорания, и они стояли у могилы втроем: Сергей придерживал за полный локоть атаманшу, а его самого крепенько-таки придерживала пионерская жоатая. И мраморный памятник с фотографией моряка, братишки в бескозырке с молодецки выпуклой грудью и с юношеской застенчивой улыбкой на устах – фотографировался-то не на памятник, а на комсомольский билет! – и металлическая выкрашенная ограда, и окаймленный ею мраморный же парапет – все было, как у людей.

И ирисы – сиреневые на черном...

Без Воронина и тут наверняка не обошлось, – подумал Сергей.

Гробничка выложена на двоих. Сергей пристально глянул на атаманшу, и та утвердительно кивнула:

– Ну да. Куда же мне теперь от него – я с ним человеком себя почувствовала.

Вот так! Надо бы изначально не в исправительную колонию ее, а к Лесникову, к братишке на перековку. Сколько б лет еще ему натянула.

– Только не пишите, Сережа, что он умер, – попросила, предугадав первое, несложное движение писарчуковой душонки. – Пусть ваши читатели думают, что он еще живой.

Конечно, человеком – о ней самой газеты стали писать: сестра милосердия, мол, мать Тереза и т.д. и т.п. Вон какая трансформация: из мать-атаманши в Терезу-мать.

И книжку довела до ума – правда, орфографические ошибки после нее исправляла, прежде чем передать рукопись, самолично доставив ее в Москву, в Серегины руки, старшая пионервожатая. И книжку свою, изданную при Серегоином толкаческом рвении «Детгизом», сигнальщик увидел – живым. «Стой! Стрелять буду!» – называется. Ну, попугая ару научили, и он фрицев из-за кустов до смерти пугал: русским партизанским басом.

И еще кое-что непечатное добавлял.

Насчет непечатного Лесников наверняка с атаманшиной подачи додумался. С ее появлением книжка вообще веселее пошла. И в том смысле, что быстрее, и в том что – веселее. Настолько веселее, что попугаи ара матюкаться на немцев стали, что «Детгиз», правда, не пропустил: не те еще времена были.

Вот вам Воронин во всей красе: даже на качество художественной литературы, а не только на деятельность солдатских мочевыделительных путей, положительно повлиять сумел!

\* \* \*

Вторая история еще круче.

Война в свое время впиталась в самые поры Сталинграда-Волгограда и выходила из него с трудом, десятилетиями – так оживают, наверное, отравленные газами. Типичная картинка. Подходя однажды к дому-новостройке, в котором ему дали квартиру, Сергей увидел, что ватага ребятишек возится со странным предметом. Подошел ближе, взял в руки: оказалось, снаряд семидесятидвухмиллиметровой пушки с вывинченным взрывателем. Дело, судя по всему, обстояло так. Рыли строители котлован, вывернули экскаватором или бульдозером эту самую хреновину, выкрутили из нее запал – дело-то привычное – и, не связываясь с милицией-полицией, дабы не накликать себе лишних хлопот, выкинули ее в сторону. Чтобы под ногами не мешалась. Ну а кто же не знает: все, что мешается под ногами у взрослых, рано или поздно оказывается в руках у братьев наших меньших. И уж для них-то, будьте спокойны, обузой не окажется. В самый раз, вмиг приспособят под свои маленькие повседневные нужды – как будто вся их предыдущая мешкотня и была нацелена исключительно на поиск этой самой штуковины. И чем она опаснее, тем она им нужнее. Ну, прямо позарез необходима – и даже самые примерные из них, пионеры из пионеров и октябрята из октябрят (а февралята, стало быть, были бы из февралят?) тоже, как и их старшие братья по разуму, не в милицию и даже не в металлолом свою находку волокут, а прямо на испытания: в костер, как Жанну д-Арк, или в тотальную разборку собственными шустрými ручонками. Будущие Кулибины и Резерфорды, а не только бульдозеристы и экскаваторщики, – особенно, когда палёным пахнет.

Пришлось Сереге самому выступить в роли старшего пионервожатого: вызвать по телефону-автомату милицию и, отогнав юных кладоискателей на более или менее приличное расстояние, ждать ее, усевшись на собственный «дипломат» – то было время, когда, его выдерживали и такие конструкции, а не только испытанные топтыгинские кресла, в которые с опаской въезжает он сейчас.

Сергей сторожил снаряд, а пионеры-октябрята, потихонечку, елозя задницами, подвигались к нему, стерегли его самого: чтоб не спер часом их находку, а во-вторых, – вдруг обезвреживать, взрывать станут прямо на их глазах? Ка-ак жажнет! Без них же вода не освятится...

Чтоб не забыть. Панельный многоэтажный дом стоял вдоль нитки железной дороги. Днем она бывала пустынна: лишь изредка в сторону тракторного завода проходили по ней нефтеналивные железнодорожные цистерны. Зато ночью, особенно под утро, земля, включая панельный дом на ней, содрогалась окрест: с тракторного, накрытые брезентовыми чехлами, вывозили на платформах танки. Наверное, с таким вот лязгом и тяжким подземным рокотом проходили по стране в Гражданскую бронепоезда, укутанные, как медсестры, до щелочек глаз броней величавого целомудрия. Дети просыпались и начинали, вздрагивая в такт дому, скулить – тоже, наверное, как в Гражданскую.

Что возят с Тракторного поезда сейчас? Воздух?

Между домом и линией находилась еще крошечная картонажная фабрика. Притулилась к насыпи и была с нею почти заподлицо. Квартира у Сергея располагалась на девятом этаже, все окна выходили на железку, а стало быть, и на фабричку, и Сергей, сидя за письменным столом, любил, отвлекаясь от очередного текста, разглядывать ее внутреннюю жизнь, благо все было как на ладони. Жизнь тоже была маленькая, поскольку на фабрике работали лилипуты. Дополнительно сплюснутые с высоты Серегинаго обзора, бегали они короткими муравьиными шажками по двору то порожняком, то перетаскивая на закорках, как носят детей, пустые картонные коробки, которые казались огромными по сравнению с их собственными муравьиными масштабами. Трудись лилипуты в цирке, где их и видел когда-то в детстве Сергей, самый простой трюк наверняка бы заключался в следующем: дно у коробки раскрылось, раззявилось, и она накрыла своего носильщика с головы до пят. Съела. Поднимут потом коробку два могучих униформиста, а мелкого – и след простыл. Под праздники, под первое мая или седьмое ноября, некоторые экземпляры становились еще мельче, ибо выходили из фабричных ворот не только с помощью ног, но и задействовав частично короткие мускулистые руки. Не только людям, но и маленьким людям ничто человеческое не чуждо, к тому же большие и маленькие, судя по всему, пьют из одинаковых стаканов – какой же дурак возьмет в руки посудину мельче самого себя, своей человеческой утробки?

Здесь, как понял Сергей, было много супружеских пар: они вместе, взявшись за руки, входили утром на фабричку, а вечером тем же нежным манером, как будто не картонные коробки клеили и таскали весь день, а любовь изливали друг в дружку, выходили из ее ворот. Но случались и такие, что к воротам с работы шли в обнимку, а за воротами, на улице, хотя какая уж тут улица – между насыпью и унылой линией бетонных многоэтажек, – враз отпускали друг друга и, повесив головы, шли в разные концы. Значит, не совсем супружеские. Супруги – да не те. Не тех. Эти, может, и изливали, пользуясь несовершенством производственного процесса, а то и его частичной автоматизацией: фабричка маленькая, но и на ней маленькому человеку найдется укромное местечко для его маленьких, коротких нужд и радостей.

Сергей был надомником – за исключением тех дней, когда выезжал на старенькой «двадцать первой» «Волге» с шофером-казакон Витей Дородниковым, что холил ее, как больную кобылу, в командировки – и с высоты своего длительного и необременительного обзора сам себе напоминал какого-нибудь энтомолога с лупой, разглядывающего в траве чужую подспудную жизнь.

Жизнь была не просто маленькой, она была почему-то еще и печальной. Или казалась таковой, даже под праздники. Вивариум маленьких человечков: один директор тут был полностью, рыкающим, сразу узнаваемым – в ничтожном своем окружении, обрамлении он сам себе казался еще выше и больше: в ворота входил, пригибаясь, хотя там еще и запас, просвет порядочный был. Есть такой надменный хозяйский пригиб: пригнуться, чтоб зыркнуть. От этого хозяйского зыркания мелочь разлеталась брызгами – не просто по своим рабочим местам, но еще и под них, тоже с пригибом, отнюдь не хозяйским, а насекомным, почти, замирая, охладевая, под плинтус. До летаргии, до самоисчезновения. Сергей, честно говоря, не любил цирк, детей водил туда через силу: ему жаль было и примученных, как бы анестезированных зверей, и таких же, анестезированных, лилипутов. Впоследствии, уже в Москве, он неожиданно – дети, обожавшие цирк, тому причиной – подружился с одним из них, только цирковым, с крошечным татаринном Равилем. Равиль выступал в паре с клоуном, похожим на директора картонажной фабрички, и у него была роль – удесятерять силы этого, и без того немаленького, своего партнера. Скажем, если тот загнутой, острой и длинной, как санный полоз, туфлём давал ему под

зад, то Равиль должен был метра на полтора подлететь вверх, а потом еще, загибая пятернями чадный цирковой воздух, изменить направление полета: горизонтально, вдоль сцены. Вот так! Подчиненные всегда усиливают начальников – даже если те полные импотенты.

Зал ржал. У Серегиных девчушек от смеха слезы на ресницах повисали: они и упростили познакомиться с дядей-мячиком. А кто же откажет, если за кулисы, небрежно козырнув удостоверением, зайдет с двумя детьми корреспондент «Комсомольской правды»? Кто же устоит – даже если и не мячик? А прирожденные директора тем более.

Равиль маленький, корявенький, но руки-ноги у него скручены, спряжены не из теста, а из металлической дратвы – структура их и придавала ему эту жиливую корявость. Не исключено, что он и в самом деле сильнее своего «директора». Сергей сдружился с обоими. Пока «директор», который и впрямь был в этой паре начальником, водил его детвору по закулисы, позволяя потрогать слона за хобот и посмотреть льву в глаза, что, по его уверенью, обеспечивает женщинам красоту и власть – Серегины погодки, воодушевленные своими амбициозными ожиданиями, вперялись, через решетку, бедной анестезированной зверюге в осоловелые, желтые и увеличительно кошачьи и были страшно недовольны, когда та, по-кошачьи же, окончательно зажмурировала их и издавала ленивый престарелый храп – Сергей с Равилем все это время потихонечку выпивали. Равиль вынимал из тумбочки в своей «артистической» поллитровку, открывал, вставляя ее, как монокль или как пиратскую подзорную трубу, в глаз – что удивительно, и глаз его желтый, в крупную татарскую крапинку, чайнику – вон куда впериваться надо бы! – оставался целым, и шейка у поллитровки не страдала, не отколупывалась: из нее по-прежнему стрелять можно было. И уж конечно, ни грамма на его белоснежную манишку – в том и шарм был, что поджопник давали этакому херувимчику, сценическому пай-мальчику из самой что ни на есть расположительной семьи – не проливалось. Не пропадало втуне – все шло в стаканы, которые, уравновешенные двумя пожилыми огурцами, выставлялись все из той же весьма артистической тумбочки. Стаканы, черт возьми, действительно навыворот – на третий уже не хватало!

Если б Равиль и на сцене показывал этот фокус-покус – откупоривание бутылки глазом, веком, ресницами, то оваций ему доставалось бы еще больше, чем за умелое преобразование директорского поджопника во взлет и посадку. По крайней мере, Сергей невольно зажмурился, когда лилипут, как адмирал Нельсон, востромлял поллитровку горлышком себе в глаз и нарочито тужился, словно открытие предполагалось противолежащим органом. Зажмурился Сергей даже не от страха пролития, чего, зная Равиля, даже предположить было невозможно, а исключительно рефлексивно, что и требуется в цирке в первую очередь.

Когда Равиль бывал в особом ударе, он сопровождал откупоривание звучным псевдо-нежданчиком, который просто невозможно было отличить от настоящего, всамделишного – разве что без запаха.

Представляете, какой бы оглушительный эффект имел этот трюк на посыпанной пропахшими аммиаком и миазмами опилками сцене?

Сергей, уже имевший к тому времени персональную «московскую» «Волгу», иногда возил своих новых знакомых по домам. У Равиля не росла борода, но он обладал законной дебелией женой весьма внушительного роста. Равиль просил Сергея сопроводить его до пункта назначения, чтобы смикшировать семейную сцену, которая, как известно, крайних высот в таких случаях достигает именно в первые свои минуты. Законная обычно ждала его посреди

комнаты, сидя на табурете, венский стул мог ее не выдержать, настолько деbeatая. Безошибочно попав в замочную скважину, открыв дверь, Равиль, не разуваясь-раздеваясь, детскими трогательными шажками шел прямо к цели. И неизменно попадал в нее. Стянув все-таки предварительно картуз, покаянно утыкался рыжей и вихрастой головой в арбузно упругий живот законной своей и всхлипывал. Два теплых величественных сугроба накрывали его без остатка. Похоже, Равиль изливал слезу туда, в ту безошибочно выцеленную им замочную скважину, куда обычно изливают любовь. Были его слезы настоящими или тоже эрзац, псевдо? – во всяком случае, когда оборачивался, чтобы окончательно попрощаться с Сергеем, глаза его влажно блестели. Супружница же, не вставая с места, в зависимости от настроения, величаво посылала Сергею две разновидности жестов. Один, если настроение миловать, – в сторону кухни, где ударника сцены ждал ужин, другой, ежели настроение было казнить, – в сторону двери: вон!

Если в сторону входной-выходной двери, глаза у обернувшейся вслед за жениным перстом маленькой бестии блестели особенно влажно и лукаво.

Дети выросли, и Сергей потерял циркачей. К тому же, как позже выяснилось, с началом новых времен они уехали в Германию. Равиль подрабатывал там в гаштетях. Каждый посетитель мог пнуть карлика под зад – он умудрялся еще и перевернуться в воздухе, потом по-солдатски развернуться «кру-гом!» и, по-военному же приложив ладошку к виску, встать перед «обидчиком» как лист перед травой.

Иногда, если норма бывала заступлена, Равиль задира ладонь не к виску, по-советски, а вперед и вверх:

– Хайль!

Гаштет отвечал дружным ржаньем: что с него возьмешь: лилипут, да еще и русский!

Жена теперь предпочитала ждать его не дома, а непосредственно на его рабочем месте, в гаштете: за граница как-никак. Господа хорошие и к ней подсаживались и, видимо, не с пустыми стаканами – по возвращению домой, в новую Россию, всё у них в семье перевернулось: пьет теперь жена, а Равиль в рот не берет. Летит теперь к ней после работы на постаревших своих кривеньких ножках, как к малому неразумному дитяти. Был он ее сыном, стала она теперь его неблагополучной, хотя во-он какая теперь, со стаканчиков, гора, дочерью. Бутылки, захоронки ее ищет и в унитаз сливает.

Партнер же его стал юристом, чиновником, большим человеком, в галстук ходит. Какую маску себе приклеишь, та потом и прирастет. Собственно говоря, он, удачливый директор, и рассказал Сергею много лет спустя, как сложилась впоследствии жизнь не только у него, но и у «Малыша», как он всегда и звал Равиля.

«Малыш» – это и было всегда его сценическое имя, а не только амплуа.

Цирк на колесах – вся наша жизнь.

У Равильевского партнера глаза как глаза. А вот у Юрия Никулина, которого с течением времени довелось поближе узнать Сергею, они были как у лилипута. И роста нормального – вон на фронте даже в батальонной разведке служил – и директор, а глаза все равно как у льва в загоне. То есть – как у Равиля. Не рыкающие. Загон циркового круга – собственно,

картонажная фабричка под Серегиными волгоградскими окнами и была таким кругом. Только директор там был явно не Юрий Никулин – выпадал из круга. В цирке можно быть слоном, а можно лилипутом – цвет, выражение глаз от этого не меняются.

Сергею даже в голову не приходило написать в «Комсомолку» об этой картонной фабрике, благо что и командировки, расходов никаких не требовалось: сиди и строчи, не сходя с рабочего места. Что вы! Вокруг полно было куда более достойных тем. Прямо дуrom пёрли на перьевую удочку: макни в чернильницу – и вот она, очередная поэма о кирпиче. И все равно: о чем бы ни писал Сергей из Волгограда, а заметки его всегда чуть-чуть горчили. Не был он записным комсомольским публицистом-оптимистом. Может, потому и отмечали его на редакционных летучках, стенограммы которых с опозданием, но доходили и до корпунктов на местах: дескать, в соборовском периферийном корпусе появилось п е р о .

Окунал в чернильницу, а окуналось и на девять этажей ниже: в кружочек лилипутской картонной фабрички. Интонация маленькой жизни, ингредиент печали, в которой, наверное уже в силу ее суженных размеров, орбит, концентрированнее, чем в большой, проступала, как пот, в лучших его материалах – возможно, Воронин способен был понять, почувствовать и это. Журналисты, разумеется, интересуется исключительно большими людьми, а вот литература, особенно большая, всходит на маленьких. Литература влекла Сергея больше, чем журналистика, даже столичная, и жизнь маленького человека всегда казалась ему загадочнее – может, потому что всегда ближе к смерти, ведь чем ближе к земле, тем ближе к смерти? – и щемящей: почти как своя собственная...

\* \* \*

Еще больше «следов войны» было вокруг самого Волгограда. Лета не проходило, чтобы не взрывались: дети, выволакивающие оружие и боеприпасы из старых окопов, механизаторы, обрабатывающие и убирающие поля. «Солдатское поле» – назывался очерк, который написал, продиктовал в «Комсомолку» Сергей: о том, как сыновья солдат Большой Войны убирают поля, где проходили самые кровопролитные бои Сталинградской битвы. Коснулся и проблемы гибнущей детворы, да и взрослых, необходимости тщательной, а не наспех, как сразу после войны, «зачистки» мест бывлых сражений, которые вообще-то никто, кроме самой жизни, толком никогда и не разминировал. Рассказал в этом очерке и о поле, которое с войны не возделывалось. Оно лежит неподалеку от поселков Ерзовка и Гумрак, вдоль и поперек изборождено старыми, осыпавшимися, забитыми бурьяном и полынью окопами и буквально нашпиговано взрывчаткой. Его показали ему местные комсомольцы, сами вчерашние солдатики, убиравшие хлеба на соседних массивах. Каждую весну сюда пытаются загнать трактор, но он движется до первого взрыва. Рванет – слава Богу, если тракторист не покалечится – и застрял, уткнувшись носом в очередную затравеневшую рытвину. По его же следам вытаскивают калеку, очередного инвалида Сталинградской битвы, другим трактором. И так до следующей весны, пока опять под давлением сверху насчет расширения пахотного клина не вспомнят об этом злополучном куске земли. Судя по всему, бои тут шли позиционные, окопные, поле не раз переходило из рук в руки, видать, и в рукопашную сходились тут: и целые, и гнутые, проломленные, будто схватка шла на топорах, русские и немецкие каски валялись вперемешку.

Похоронных команд в Советской Армии во времена Сталинградской битвы еще не было, их ввели только в сорок четвертом году, под большие генеральные наступления – во времена

больших отступлений погибших преимущественно и закапывала сама жизнь. Много лет спустя, уже в новом времени, Сергей Гусев побывал в окрестностях Старой Руссы и в ней самой. Молодежные отряды «поисковиков», современных солдатских следопытов вынимали с предосторожностями, с какими выбирают корешки пересаживаемого дерева, извлекали из лесного дерна и болотистых торфяников солдатские кости. Попадались и куски ткани, и совершенно нетронутые тленом кирзачи, и даже фрагменты человеческих тел: русские болота с их затрудненным газообменным дыханием, оказывается, хорошо приспособлены для многолетнего сбереженья не обремененных салом солдатских тел времен великих отступлений или заваливания противника собственными труппами, точнее – труппами собственных солдат, что всегда и везде, не только в России, именовалось своей противоположностью: позиционными наступательными боями.

Сперва мучительно и бесконечно – взад, потом, пердячим же паром, еще мучительнее – оттудова.

А всего лучше, оказывается, наша лесная болотистая сторона приспособлена для сохранения бумаги и карандаша. Даже не оружия, хотя некоторые экземпляры его в привычных «следопытских» руках, еще не прокашлявшись от грязи, с первого выстрела попадали в десятку – в бутылку то есть. Бумага и карандаш на ней. Денег солдат отродясь не видывал, а вот четвертушка бумаги с накарябанными словами к нему ли, от него ли – не успел отправить – имелась у каждого.

Смертных завинчивающихся капсул, в которые каждый должен был вставить полосочку бумаги со своими «данными» – год рождения, место и время призыва и т.д. – русский солдат не любил: дурная примета на самого себя заполнять «смертную». Капсулы почти сплошь пустые: среди полых костей полая, свинчивающаяся из двух половинок пулька. А вот письма сохранились – по ним и доискивают солдату имя, фамилию, а если повезет, и все остальное.

Особенно – написанные карандашом. Чернила выцветают, эти же крошечные «рукописи» действительно не только не тлеют, но и не тускнеют. Буковки торчат, как новенькие, может потому, что тускнению не подвержено обозначенное ими. Земля знает, что хранить – родственное ей самой: односложное, земляное, смертное.

Нынешние борзописцы гнутся над компьютерами, а надо бы, ежели для вечности – карандашным огрызочком, огузочком, скрип да скрип: до следующего тысячелетия, глядишь, и доскрипишь.

Побывав на нескольких местах перезахоронения, Сергей ужаснулся количеству гробов. Их, грубоструганых, элементарных, как лодки-долбленки, не десятки, не сотни – тысячи. И это – результат только одного летнего сезона работы солдатских археологов. Подготовленные к перезахоронению гробы стояли не просто рядами, а еще и штабелями, и даже пирамидами. Братские могилы под них выкопаны экскаваторами. Гробы к этим свежим, вензелями, чтобы полнее использовать кособокую геометрию выделенных под – так и хочется сказать «застройку» – участков, траншеям молодежь несла не по четверо, как принято, а по двое; солдатские кости легки, как птичьи. Старая Русса даже ропщет потихонечку; кладбище в центре городка разрастается и разрастается, хотя своих, сегодняшних, здесь уже не хоронят, несут за город. Центр города снова, повторно занимают ветераны Волховского фронта. Теперь это им удастся куда легче, чем при жизни: их вносят сюда на руках.

Как бы ни были изоштрены «следопыты» в определении «своих» и «чужих» – надо учитывать, что у немцев-то похоронные команды были изначально – а вместе с победителями в Старую Руссу наверняка просачиваются и побежденные. В местном музее даже есть предсмертное письмо одного немца, пришедшее из ФРГ. Престарелый захватчик письменно просит прощения у жителей древнего города, в котором был когда-то юнцом, гнил в обнимку с нержавеющей «шмайссером», и возвращает вывезенный отсюда, из музея же, старинный меч: письмо на нем, на старинном мече, и лежит под стеклом.

#### Братание скелетов.

Какое там перезахоронение! – большинство из них хоронят в первый раз. Высаживают, как сажают у дома молодую черемуху, принесенную из леса. Их и переносят – из лесов-болот-степей – поближе к человеческому жилью. Доисторических черепков в русской земле меньше, чем этих костей. Тоже теперь доисторических.

Когда немцы отступили от Сталинграда, окрестные колхозники по строгой разрядке полгода свозили на санях и телегах трупы с этих вот полей к братским могилам. Возчики, преимущественно возчицы и подростки-ездовые, и сами нередко оставались в этих же полях или возвращались с них калеками. Разумеется, надо учитывать нехватку гужевого тягла, понесшего потери, сопоставимые с человеческими, к тому же ни одна кобыла не дотягивала до одной полновесной лошадиной силы, и только вожжи подчас удерживали ее в стоячем положении – впрочем, то же самое касалось нередко и возчиков: сними с них вожжи, ярмо, поклажу – и с ног долой. И все же. Полгода свозки трупов – еще одна и, может, самая всеобъемлющая единица измерения наших побед.

Когда говорим «германская военная машина», подразумеваем действительно машинерию... Когда же говорим «советская военная машина», понимаем совсем другое: машинное отношение к людям. Правда, такого машинного, как сейчас, уверен, и в войну не было.

Солдатские археологи подвижны, вероятно, не только христианскими чувствами. Два дня назад прочитал в газете, что очередное заказное убийство в Москве было совершено из нагана времен второй мировой, причем стрелявший, киллер, наймит, проживает в деревне под Великим Новгородом – то есть в районе все той же зловещей, где и болотная вода – только ли и от торфа? – цвета спитой человеческой крови, линии Мясной Бор – Старая Русса.

Так что же? – дожидаться теперь других, совсем уж новых, которые будут искать исключительно железо, а человеческие кости воспринимать как досадное сопутствующее обременение к коллекционному оружию?

Слава Богу, хоть эти еще есть, не перевелись, не ринулись поголовно в коммерцию.

«Его зарыли в шар земной...» – на полторы штыковых лопаты...

Местные парни и провели Сергея по этому полю. Видимо, с детства еще шныряли здесь, своими же мальчишескими тропками и ввели, потому как не оторвало Сергею ни ноги, ни руки. Что было бы не удивительно: глаза на лоб лезли от обилия железа вокруг. В одном месте, в ложбинке, рядом с проржавевшей каской и горстью выбеленных костей, из которых уже известку варить можно, нашли офицерский медальон, капсулу. Открыли – внутри многократно в трубочку свернутая папиросная бумажка с карандашным текстом. Оказывается, не только болото,

но и степь хорошо хранит последние и потому самые простые человеческие слова. Впрочем, в данном случае не совсем уж простые. Это была записка, адресованная маленькой дочери, в которой отец описывал ей цветок, сорняк, росший на краю окопа. Осень, цветок измочален, но все равно его синие, твердые, воощенные лепестки – «как твои глазки...» Офицер, очевидно, с дальней лесной стороны и называет цветок васильком, а на самом деле это скорее всего был бессмертник: уже судя по тому, как цеплялся за жизнь. «Артналет пройдет, выгляжу – он стоит на своем месте, и мне спокойнее». Юный офицер еще помнил, наверное, Хаджи Мурата: записка сентиментальная и вместе с тем, как и все они на войне, вещая. Просит девочку расти такой же сильной, смелой, красивой и нежно любить мать – если придется, и за него.

Не только жилистые бессмертники, но и васильки часто переживают окопавшихся среди них солдат.

Это ли поле описывал скрючившийся в окопе лейтенант, другое ли описал и, видимо не чуждый литературных попользований, сунул самокруткой в смертную свою капсулу – и так и носил, согревая на груди свои же красивые слова? Наверное, это. Бессмертников тут море. Идешь, а они тебе дорогу заступают, как вилы, высунутые кем-то изнутри. Колочие, когтистые, на ветру даже не шелестят, не шуршат, а скрипят. А если в штанину вцепятся, то следующий шаг уже рискуешь сделать без штанов. Что им артобстрелы? – их разве что химией, химической атакой припугнуть. Сияют – соцветия, рефлекторы их вправлены не в чашечки, а в крошечные костяные шлемы с серыми, острыми миниатюрными шипами. Цветок-солдат, русский полупустынный бедуин.

Вешки, синие-синие, до ломоты в глазах, бакены, обозначающие на поверхности местоположение тех, других, пережитых, бесчисленных и, как выяснилось, не бессмертных, голубоглазых и не очень, что до срока истлели в этой полупустынной земле, так и не насытив ее. Артобстрел прошел, но лейтенант в очередной раз на бруствер не выглянул.

...И о лейтенантке написал, и записочку привел полностью – у него самого подрастала, подгоняемая ветерком, первая дочечка.

Очерк расхвалили, Сергея премировали творческой поездкой в Ленинград – он и рванул туда с дочкой на коленках.

Но круче всех развернул ситуацию Воронин.

Сказал речь на пленуме ЦК комсомола, назвал выступление «Комсомольской правды» (именно «выступление» почему-то) блистательным, что само по себе уже было новостью: обычно первые на своих комсомольских хуралах «Комсомолку» не хвалили, здесь в традиции был вооруженный нейтралитет. Обратился к Министерству обороны с просьбой поддержать газету и организовать тщательное разминирование полей Сталинградской битвы и этого конкретного поля в частности. Сообщил, что волгоградский комсомол берет над ним шефство: вспашет, засеет, будет проводить тут конкурсы юных земледельцев, селекционеров (бессмертники и впрямь были селекционными!) и установит мемориал под названием «Солдатское поле».

И, забегаая вперед, установил-таки, чёрт возьми! И даже в авторы мемориала зазвал не абы кого, а лауреата Ленинской премии, скульптора и архитектора, возводившего когда-то мемориальный комплекс в Хатыни.

Как зазвал, пожалуй, понятно – исключительно раками. Лучших раков, чем в Волгоградском Заволжье, на этом свете нету (а на том и подавно). Сам знаменитый дирижер Силантьев, большой, вальяжный, княжеского покроя, по лукавому гостеприимству Воронина частенько наезжал сюда с концертами и даже без них, требуя оплаты исключительно зелеными, то есть – живыми.

– Красных мы и в Москве достанем! – говаривал у ночного костра.

Серегин очерк Воронин дописал: резолюциями, постановлениями, куличенковским к себе благоволением, звонками по «вэчэ». Прекрасное дополнение получилось: как вторая часть «Мертвых душ»! В огне не горит и в воде не тонет. Сергей и сам участвовал, вынужден был участвовать в коллективном дописывании своего опуса. Делал репортаж о разминировании Солдатского поля. И попробовал бы не сделать: его вытолкали из Москвы распоряжением главного редактора «осветить» работу саперов на Солдатском поле – название очерка стало, черт подери, географическим наименованием!

Очерк зажил своею жизнью, и Сергей даже получал от этой чужой жизни серьезные дивиденды. Скажем, прежде чем вытолкать из Москвы, на разминирование, его в эту самую Москву, тоже как на минное поле, втолкнули. Перевели с повышением из собкоров в заведующие отделом – так Воронин исполнил, практически за него самого, его первую мечту.

Год спустя, в один из своих приездов в Волгоград из Москвы, уже вполне столичной штучкой, Сергей увидел не только чистое, колосющееся поле (бессмертники все равно не сдались: среди медовой матовой желтизны то здесь, то там выстреливало автогенно синим, легированным), но и обнесенный чугунной решеткой мемориальный комплекс в его начале. Знаменитый скульптор Левин внимательно прочитал его очерк. Тут был и лейтенант, строчащий что-то на колене, и трогательная девочка с чугунными, как у эллинки, но вполне голубыми глазами, и полный текст самой записки, отлитый на манер Петровских указов, свитком свисал с пьедестала. И даже цветок нарисован, вылеплен внизу, в углу, где обычно ставят гербовые печати. И груда искореженного металла, пустых, обезвреженных снарядных гильз, бомбовых и минометных корпусов выложена, выстроена кверху неким ракетным шлейфом. И отполированные, сверкающие почти синим, почти васильковым громадные лемехи по углам ограды.

В общем, поэма «Медный всадник».

«Солдатское поле», – прочитал Сергей на внушительной чугунной же плите, прикрепленной к ограде. Так он впервые в жизни увидел собственные слова, пусть хотя бы одно название, отлитые в металле. Пускай пока не в бронзе, но все-таки – в чугуне. Начало положено.

Воронин сделал Сергея знаменитым. Пускай временно, пускай регионально и все-таки – знаменитым. Очерк рекомендовали для изучения на факультете журналистики, а само Солдатское поле обозначили на картах области и вписали наряду с Мамаевым курганом в экскурсионные маршруты, благо вокруг памятника разбили небольшой парк, поставили скамейки, где туристы могли не только культурно отдохнуть, но и культурно выпить и даже закусить.

И на каждой экскурсии экскурсоводы благодарно и пафосно вспоминали, как отца-основателя, имя Сергея Гусева, хотя по-хорошему вспоминать надо было Воронина.

\* \* \*

Поле разминировали довольно долго, и Сергей несколько дней действительно прожил среди солдат-минеров. В их брезентовой палатке, которую они установили там, где впоследствии возник мемориал. Солдатами командовал лейтенант, юное существо, отпрашивавшееся по вечерам у подчиненных на танцы. Отпрашиваться ему приходилось в основном у Сергея, который, вспомнив свое армейское прошлое, добровольно взял на себя старшинство в их крохотной команде, да он и был здесь старше всех по возрасту. И не только по возрасту: с переходом в «Комсомольскую правду» военкомат произвел его заочно в старшие лейтенанты. Вот уж действительно: солдат спит, а служба идет.

Разыскал Сергей и совхозных парней, с которыми первый раз обшаривал поле. Они оказались очень кстати – наперечет знали все опасные места здесь.

Солдаты с миноискателями выстраивались вереницею и медленно, полушагом двигались по полю, как косцы в сенокос. И абсолютно молча: опустив головы и настроженно вслушиваясь в зуммеры наушников. Окруженные, укутанные тишиной, как туманом. Сергей, пользуясь положением, и сам походил с миноискателем. В наушниках зудело почти безостановочно. Снаряды и мины, вылущенные из земли с еще большими предосторожностями, чем человеческие кости и пышно припудренные ржавчиной, сносили, как спящих грудничков, к оврагу. Если попадались неразорвавшиеся бомбы, из них пытались на месте выдернуть детонаторы и уже в этом, более безопасном виде на военном вездеходе ГАЗ-66 перевезти туда же, в овраг. Если взрыватель не поддавался, оказывался намертво приваренным временем к корпусу, бомбу нежно, словно отравленного ядом покойника, на вытянутых руках поднимали в тот же грузовичок с опущенными бортами, укладывали, не дыша, в ящик с песком и, действительно похоронным осторожным, замедленным ходом, везли к месту бурной кремации – к оврагу же. К команде и грузовику придан солдат-шофер, но лейтенант всякий раз, отодвигая его, садился за руль сам. За день каждый раз собиралась приличная кучка – можно подумать, что поработали добросовестные пионеры на сборе металлолома. Ближе к вечеру, когда и в окрестных полях затихали моторы, ее взрывали. Устанавливали «адскую машину», отходили в укрытие – то есть просто подальше от оврага, лейтенантик поворачивал ручку «динамо» и падал рядом ничком, по-мальчишески накрыв железную каску на голове еще и парой своих ладошек, и из оврага взмывал короткий высверк, окаймленный черным сажистым облачком – вроде как покойник громко выдохнул – и предваряемый глухим и скорее подземным, нежели металлическим, рокотом.

И едкий запах тротила, горелого железа доносился через минуту до «укрывшихся».

Честно говоря, сам взрыв не выглядел зловеще – скорее пиротехническим. Но змеи из оврага исчезли до единой. И только один раз, показалось Сергею, над ним свистнуло – он это услышал не ухом, а шкурой.

– Ббах! – звучал сигнал «отбой» и лейтенант, ни минуты не мешкая, торопился к палатке: мыться и переодеться из полевой формы в парадную, которую заботливо возил с собой, словно готовился в степи к встрече с главнокомандующим. Пора на танцы! Что уж за красотки его там ждали, но он даже от ужина отказывался в предвкушении, видать, других разносолов.

Много лет спустя, в октябре 93-го, его убьют в Белом Доме. Под Сталинградом, черт возьми, не взяло, а в центре Москвы – достало. Лейтенанта, ставшего к тому времени полковником и отказавшегося выходить черным ходом вслед за своими начальниками с задранными руками на милость победителей.

Вот и скажи после этого, что Москва – не главное минное поле России.

Жена, выловленная-таки если и не в Волге, то в Волгограде, куда лейтенантик уезжал, сбегал с Солдатского поля, сам за рулем, все на том же универсальном ГАЗ-66, осталась вдовой.

...Момент взрыва пацанва предчувствовала так же, как предчувствуют любые взрывы и четвероногие друзья человечества. Вроде минуту назад еще никого не было, а только-только возьмется лейтенантик за свою дявольскую эбонитовую ручку – они тут как тут, уже у флажков. И погнать их никак невозможно – во-первых, приходят, объявляются, как из-под земли выросли, а во-вторых, не с пустыми руками. Сало-млеко-яйки – в общем, всё, что в свое время безуспешно, потому как уже не единожды было выграблено отступавшими-наступавшими, требовали захватчики, приносили добровольно с в о им.

И лейтенант только рукой назад яростно, по-чапаевски махнет:

– Ложись!

И пацанва, благоразумно выставив узелки вперед, моментально, как уже подкошенная, валилась на траву рядом с солдатиками.

Как же их гнать? – лейтенанту тоже перепадало: свой узелок, чтоб лучше плясалось, он, торопясь после мытья и переодевания, брал с собой в машину. А Сергей с солдатами разводил потом возле палатки костерок, они, не торопясь, ужинали, облагораживая тушенку едва ли не военных лет дарами тружеников тыла, а потом просто сидели, курили, болтали, тепло и тесно okayмленные никак не остывающей после дневной беготни деревенской ребятней.

Мылись, между прочим, в родничке, журчавшем по дну того самого забитого терновником оврага – откуда и достоверные сведения о змеях.

Как понял Сергей, часть собранного и обезвреженного минерами железа и пошла потом на «аксессуары» мемориала. Пирамида гильз и стальных корпусов, символизирующая, видимо, «апофеоз войны» и сооруженная с помощью электросварки в центре мемориала, происходила несомненно из близлежащего оврага. Далеко ходить не надо было – состояла из подручного материала.

В комплекс входит и братская могила. Миноискатели на черепа и кости не реагировали. Но собрано их «попутно» немало: и солдатами, и помогавшими им местными парнями, и, конечно же, вездесущей пацанвой – как же без нее вода освятится? Все их, не разбирая, где чьи, сносили в одно место – собственно, мемориал и начался с братской могилы. В этой братской могиле же похоронили и кости, среди которых нашли записочку к дочери, чьи глаза – «как васильки» (видимо, этим сравнением и продиктован был выбор названия цветку, на котором остановился начитанный младший офицер). Так что юный отец присутствует здесь в двух ипостасях: сотлевшей горстью кальция и бравой несокрушимостью чугуна. Могила действительно получилась братская: немцев, которые зачастили сейчас в Волгоград, обязательно привозят и

сюда. Не исключено, что и юный советский лейтенант лежит там, внизу, в обнимку с врагом, с которым на этом же поле сошелся в последней рукопашной.

Чугунному, ему, может, и одиноко, а вот тленному – нескучно, есть с кем побеседовать на тему большой мировой политики.

Волгоградские комсомольцы по команде Воронина и дочку его нашли, и она приезжала на открытие мемориала, взрослая, молодая, красивая – глаза действительно «как васильки», но на сей раз надо бы написать еще красивее: как «заплаканные васильки»: не только у нее, но и у крохи, которую она держала на руках. Свою ровесницу – из сорок третьего: лейтенант мог бы строчить под копирку.

Лейтенантские косточки, наверное, встрепенулись от счастья: свиделись. И многие другие, неузнанные, тоже, наверное, повставали в могиле на цыпочки: а вдруг? Причем не только «свои», но и «чужие»: а вдруг?

По нынешним временам, правда, жителям Германии добраться до Солдатского поля легче, чем жителям какого-нибудь русского Верхнепупинска. Победителям – в кавычках.

Кого бы надо по-хорошему еще положить в ту братскую могилу, так это второго лейтенанта, командира саперной команды, так несвоевременно ставшего полковником. Тогда был бы полный комплект. Они бы там вторично свиделись. Два победителя – им, уверен, было бы о чем поговорить друг с другом.

Много позже и совершенно случайно Сергей узнал, что после эпопеи с Солдатским полем Воронину тоже засветила Москва – ему предложили должность секретаря ЦК комсомола по военно-патриотической работе. Воронин отказался. Неслабая разница между ними: Сергей рванул, как только пальчиком поманили, Воронин ответил «нет» – и это притом, что комсомол, как правило, на все восторженно твердит «да!»

Воронин метил не выше – глубже. В фундамент.

\* \* \*

...Однажды этой дорогой Сергей уже проходил, проплывал.

У него вообще многое в жизни связано с Волгой, как и у большинства русских людей, родившихся в Европейской части Советского Союза и склонных к перемене мест: каждый из них хоть раз да Волгу переезжал-проплывал, хоть раз да обозначалась она, как цыганская карта, в его судьбе. Главная жила России, ток которой, приливное, шепелявое струенье крови которой достигает и до самых мелких и дальних капилляров – тех, что у нас на виске.

Проплывал в шестьдесят пятом, тридцать пять лет назад. Юным, тощим и полным сознания оконченности, краха жизни, что так не согласуется ни с первым, ни со вторым. Провалился на вступительных экзаменах на романо-германское отделение филфака МГУ – первый, профилирующий экзамен по немецкому сдал на четверку, хотя, как золотой медалист, надеялся на пятерку – тогда все было бы о'кей – а дальше как-то не заладилось, и он, махнув рукой, не

стал дожидаться конца испытаний: забрал документы и рванул из столицы вон. И что-то его надоумило – наверное, стесненность в деньгах – рвануть не просто к дядьке-речнику, потому как особо рвать ему, детдомовцу, было некуда, но и рвануть еще и самым дешевым тогда способом: вплавь. Долго-таки стоял перед расписанием движения теплоходов на Речном вокзале Москвы и тарифной сеткой, вывешенной рядом же, сопоставлял сетку с дырками в собственном кармане, и все же принял окончательное и бесповоротное: плыть. Это напоминало бегство врангелевских войск из России. Правда, у тех много транспорта и в помине не было, а оказавшиеся под рукой пароходы оплачены были Антантой: халява, пли-ис!

Плавание обходилось дешевле всех других видов передвижения, потому что тариф полностью игнорировал пропитание. Плыть почти неделю, но Сергей питание тоже в расчет не принимал: кто же во времена юношеских трагедий думает о такой ерунде как хлеб насыщенный? Сергей и не думал. На билет же денег ему хватало. В один конец: о других концах он тогда никакого представления не имел – будь, как будет. Странное дело: в голодные годы мы меньше думаем о хлебе, нежели в сытые. Как будто в начале жизни лелеем душу, а потом уже прислушиваемся только к пузу. И холим его, и потворствуем ему. Поэтому и жизнь делится строго надвое: на страдания души и на болезни тела. Живота. Если, конечно, дотягиваем до нее, до второй части, озабоченной лишь одним: уборочной массой, чтоб как можно больше ее, уборочной массы, уложили, убрали потом в силосные траншеи, опоясывающие землю вдоль и поперек. Как будто в загробной жизни человек живет, питается не плодами своего труда, памяти о себе, а, словно верблюд, исключительно плодами своего тела. Медведь укладывается на зиму в берлогу толстым и сытым, а выходит весной худым и злым. Отсюда вывод; даже в раю правят голод и злость.

Сергею стыдно было возвращаться в районку, которая торжественно, вскладчину, как на выданье, провожала его в Москву, и он ринулся, куда глаза глядят. Глаза и глянули: пристань Владимировка, что между Волгоградом и Астраханью, Владимирские затоны, где его дядька Митяй, тогда еще молодой и даже неженатый, осел после речного училища и армии судоремонтником. Взбрело в голову поменять профессию (которой, по-хорошему, еще и не было), раз и навсегда расстаться с беллетристикой: так свербил и горел еще пинок, полученный на Моховой – да, филфак тогда еще находился в центре Москвы, напротив Манежной площади, а не на Ленинских горах. Стану речником, речным, а там, глядишь, и морским, волком. Одним из тех, о ком пишут, а не из тех, кто, сунув палец в рот, сам пишет. Вообще-то, Сергея в жизни не раз переезжало, но этот переезд был одним из самых унижительных: ему ампутировало достоинство. Самоуважение.

Стало быть, плыл он тогда, без малого сорок лет назад, налегке.

Теплоход был красавец, красавец серии «река – море». Трехпалубный, медный и золотой, божественно вылепленный, выпетый в один прием неким чудовищным басом, находящимся где-то за сценой, потому как сцена его не поместила бы. Весь еще в дрожании утробных голосовых связок, огней и перламутра, он выглядел, как чересчур дорогая брошь на скромной, впалой груди Москвы-реки. Вот когда, пройдя лабиринт деревянных, почернелых от старости и вечной сырости шлюзов, в которые его, едва помещавшегося, опускали и из которых поднимали, как поднимают из купели уже коронованного наследника, проследовав стежечкой канала имени В.И. Ленина, столь же тесного для него, что и шлюзы, по каковой причине «идти» ему приходилось на цыпочках, по одной половице, чтоб не разворотить подбитые щебенкой пологие берега и не выплеснуть канал, как блюдце, через край, где-то к утру вышел он к Большой

Волге, к Кимрам, а потом, снова к вечеру, вошел, въехал, вплыл царственно в изножье Рыбинского водохранилища, – вот тогда, наконец, он оказался на своем надлежащем месте.

Грудь вздохнула богатырская, и, одевшись по периметру золотыми огнями, чтоб не потеряться окончательно, теплоход сразу канул в громадной пучине двух одновременно разверзшихся и одинаково мгlistых вод: поздней предосенней ночи над ним и жадно соприкоснувшейся с нею бескрайней, бездонной, совершенно остановившейся в своем течении ночи под ним. Тысячесильные дизели теперь работали во всю мощь, усердным, предельным содроганием своим, как и своим молитвенным шепотом, достигая не только самой верхней палубы, капитанской рубки, но и кончиков антенны на атавистических остатках, обрубках былых мачт, свергнутых новыми временами, но еще помнящих доисторический трепет крыл на плечах своих.

Раньше дрожь нисходила сверху, из поднебесья, теперь же бьет из нутра, и недоразвитые металлические, хромированные распятия, осеняющие современные корабли, дрожат, словно зажатые под горло властной рукой исполинского Крестителя, вывернувшейся наперерез волнам не то из-под воды, не то уже из-под самой земли.

Двигатели напрягались вовсю, но возникло стойкое и неуютное ощущение, что теплоход если и не тонет, то и не движется совсем. Громада обступившей со всех сторон пресной воды, со своими странными сырыми шорохами, запахами, в которых явственно проступают гнилостные оттенки, похолоданием до озноба – море, да не то. Не лучезарное. Федот, да не тот. Даже ночь на пресных морях кромешнее, чем на южных, соленых.

Неизвестно, пришел бы он так быстро в себя, если бы выбрал другой способ передвижения? Часами проводил время на верхней палубе, вглядываясь в женственно расступавшуюся перед ним Россию. Теплоход пассажирский, не туристический, но остановки делал во многих городах, больших и маленьких, пазушных. И Сергей охотно, налегке, поскольку голодный, сбегал на берег. Углич, Плес, Тетюши, не говоря уже о Ярославле и Казани, Горьком, Волгограде... – здесь «Клемент Готвальд» стоял часами. До этого вынужденного путешествия Сергей толком ничего, кроме степи, в своей жизни и не видел. Да, он добрался из Буденновска до Москвы и даже пожил три недели в Москве: 34-й троллейбус каждое утро привозил его из общежития на проспект Маркса, в библиотеку, или на вступительные экзамены, а поздним вечером, полусонного, высаживал возле общежития. Вот и вся его Москва – по тридцать четвертому маршруту. Башка была забита зубрежкой, Москва в нее уже не помещалась. Сейчас же зубрежка вылетела, все вылетело и расчистилось. Волга начиналась у него с чистого листа. Катила его, как новорожденного – живая, большая, прохладная купель. Вливалась в него спокойно, широко и мерно. Со своими берегами, что к осени как бы посветлели, раздвинулись, набрались воздуха и света: природа словно вдохнула полной грудью и на миг придержала дыхание. С большими старинными городами, в которые втекала она как главная улица, как хозяйка и, нежно омывая их своими излучинами, создавала впечатление, что они, отражаясь в ней своими крепостными стенами и печальными древними соборами, тоже составляют с нею единое целое. Плывут вместе с Волгой, осыпаясь в нее, как осыпался, растворился некогда в волжской воде, добавив ей горечи и меда, легендарный Итиль – город висячих садов и изысканных камышово-глинобитных дворцов. С деревнями и селами, с крохотными заштатными городишками, которые зрелым летом с теплоходов, наверное, и не видать, а сейчас, ближе к осени, они высунулись из-за поредевших куп, как высовываются после отлета птенцов даже самые укромные гнезда. Сейчас вон компания их несется на катере, а по берегам ни души, как в пугачевские времена, а тогда казалось, что волжские берега, даже в глухомани, заселены людьми, как птицами. Что

Волга – одно большое человеческое гнездовье. Сейчас же – как канал, только что прорытый в безводной и безжизненной пред– пугачевской степи.

Волга и приняла его тогда – как сироту.

Пару раз он искупался в ее охолонувших водах, смывая с себя Москву, как морок. Полежал на солдатской отаве зеленых, еще не огрубевших повторно откосов Углича, представляя себя Дмитрием-переростком, счастливо избежавшим кривого боярского ножа. Представлялось легко, особенно с закрытыми глазами: может, потому что купола острогранного собора, стоявшего на откосе, сквозь закрытые веки светили еще маслянистее, чем напрямую: к ним примешивался и теплый цвет собственной крови. Но открыл глаза чрезвычайно вовремя: по самому верху, по краешку откоса проходила девчонка, его ровесница, в юбке колоколом. И несла охапкой, прижавши к груди, как носят цветы и детей, яблоки. Темно-малиновые, пасхальные и тяжелые, как раскалившиеся изнутри, трудно остывающие чугунные ядра – не столько объем, столько цвет и давал ощущение веса и крутости теста: яблоки не спряжены-скатаны в масле-сметане, а почти что выкованы или отлиты, сбиты тяжелой рукой из того, что под рукою было. Грудь у девчонки и без этого продолженья, довеска – чудесная, яблоки же, подпирая, прибавляли ей урожайности: грудь и нос одинаково, задорно вздернуты, курносы. Сергей и осмелел – потому что яблоки. Без них была бы недотрога, с яблоками же, да еще с замечательными, с необлупившимся летним загаром, спаренными сестрами-близнецами, передвигавшимися под юбкой в полном, до кружевных трусиков, обозрении и совершенно самостоятельно и от девахи, и от яблок, и уж тем более от вздернутого носа, – с яблоками она была более земной, хоть и располагалась, по отношению к Сергею, уже почти что на облаках.

Лежа на животе, Сергей приподнял голову, чтоб повнимательнее рассмотреть, хотя для более обстоятельного и пикантного обзора надо было бы упереться в траву подбородком, и помахал девахе рукой:

– Привет!

Девчонка засмеялась, мягко присела на корточки, выставив колени едва ли не выше самого носа, и подбородком, не нарушая общего строения своего вкусного «букета», столкнула самое верхнее и самое крупное яблоко по откосу в направлении Сергея;

– Не глазей – не продается!

– Неужели? – рассмеялся и Сергей, но действовать надо было быстро; яблоко, блистая боками, накатывалось – пасхальным яичком на Красную горку – стремительно и вполне могло прошелестеть мимо, вплоть до Волги. Сергей и в самом деле втиснулся бородышкой в землю – нет, что ни говори, а яблочные коленки, высунувшиеся из крепдешинового колокола, как два его крепко стиснутых и божественно нежных языка, неотразимы – и раскрыл рот во всю Ивановскую. И – поймал-таки!

Ртом! – как Лев Яшин своими черными задубевшими перчатками, крагами, так и Серега своим голодным ртом.

Да чтоб мы, никола-александровские, что-нибудь съестное (или спиртное) мимо рта пропустили?! Да ни в жизнь! Да еще в дальнем плавании на пустое брюхо...

Так она его заставила замолчать, сама же легко, березкою из танца «Березка», поднялась, ни грамма из своей ароматной ноши не расплескав, и, расхохотавшись, двинулась своей дорогой.

Бедра только, задававшие ход и мелодию колоколу, давали чуть больший, чем до того, крен и в левую, и в правую сторону. Неслышимый звук у колокола поменялся: был малиновый, а стал лазоревый: девчонка теперь знала, что ею любят. Сергей собирался промычать, с яблоком в зубах, что-то в ответ, нежное и призывное, но за него, за его спиной, с пристани, утробно и властно промычал «Клемент Готвальд»:

– Гу-гу-уу-гу-у!!!

Сурово, как умеют только большевики – и советские, и заграничные, включая чехословаков призыва до шестьдесят восьмого года.

Все по местам! Назад, Сергей Никитович, в каюту, в дорогу, на казнь.

Так они разминулись в этой жизни: она, по краешку древнего откоса, с горкою яблок под виноградной девичьей грудью, грациозно, танцует, вперед и вверх. Серега, по-прежнему со «штрифелем» в зубах, – назад и вниз. Но теперь тоже не уныло, не раздавленно, не по-каторжному, а тоже почти танцует. Петляя, подпрыгивая и без конца благодарно и весело оглядываясь на девчонку, пока она не скрылась за косогором, как за зеленым горизонтом. Как за другой жизнью.

Казни не будет! Казнь отменяется. Сергей вернулся в свои восемнадцать лет, когда жизнь и в самом деле только-только зачинается.

Спасибо случайной Еве: Адам очнулся. Очухался.

После этого нечаянного происшествия путешествие пошло в удовольствие. Сергей и впрямь поплыл по течению – почти что до самой Астрахани. Ему теперь казалось, что вовсе и не машина громоздкая, не махина его везет, что это он сам, саженками, то зарываясь головою в родниково прозрачную, остывающую воду, то, отбрасывая со лба налипший чуб, бурно выпрастываясь из нее и разлепляя, в счастливых слезах, обостряющих сразу и зрение, и чувства, слипшиеся как и чуб, ресницы, неумоимо и невесомо, рыбкой, плывет себе и плывет.

Вниз по матушке по Волге, внимая и лону её, и дну, и ее берегам.

...Сергей не вслушивается в голоса на корме, среди которых выделяется звонко воронинский, приникает носом к самой обшивке катера. И теперь ему кажется, что на сей раз он действительно чешет – на бреющем – по волжскому дну. Даже не на подводном катере, а на собственных тяжелых подводных плавниках.

### ГЛАВА III

#### АДАТ, ИЛИ ТРОЦКИЙ НА ОХОТЕ

Господи, о скольких родственниках я уже написал – им может показаться, что я и не живу рядом с ними или, что касается жены, просто с ними, а лишь, как Циолковский звезды, наблюдаю их: дневных и ночных. Собственно говоря, и писателем-то стал только благодаря им, своей не очень грамотной и совершенно неискушенной в письме (зато как языкаты, черт возьми, в изустном творчестве!) родне. Ибо первое мое «произведение» размером в три школьных странички в косую линейку, то самое, что изменило мою жизнь круче, чем всё остальное, написанное за последующие годы и годы, своим появлением обязано исключительно ей, родне. Это был даже не социальный заказ, скорее социальный экзамен. Моя тогдашняя малограмотная родня взяла корявыми пальцами хрупкое стальное перышко «звездочку» и, собрав всю наличную деликатность, надавила.

И перышко закрипело ломающимся фальцетом Робертино Лоретти. Перу было четырнадцать лет.

Нужда – мать любого творчества, – говаривал много позже один мой старший, ныне уже покойный, так и не наживший палат каменных – с творчества-то – друг. В моем же случае в роли творческого погонялы выступала тогда даже не нужда, а сама судьба. Мои дядьки, родной и двоюродные, в полутемной деревенской комнате декабрьским днем шестьдесят первого года делили детей. Нас то есть: троих сыновей – четырнадцать, девять и шесть лет – нашей матери, а их сестры, умершей от эхинококка в сорок четыре года.

Наши родные отцы в дележе не участвовали: во-первых, их на нас троих оказалось почему-то двое (может, если бы трое, легче было бы делить?), а во-вторых, в данный специфический момент они оба пребывали глубоко в нетях, о чем еще пойдет речь впереди. Дядьки же, у абсолютного большинства из которых у самих сидело семеро по лавкам (в том числе и в хате, в которой они собрались на второй день после похорон) и которые почему-то, несмотря на повсеместно утвердившуюся к тому времени диктатуру пролетариата и прочего крестьян-

ства, никуда выше тракторной или шоферской сидухи так и не поднялись (нет бы сразу на Мавзолей!), решали при меркнувшем свете декабрьского дня почти что Христову задачу.

Как двумя собственными хлебами накормить и еще троих, в общем-то, не совсем своих? При том, что и свои-то, кровные, не передали: самый шестьдесят голодный год.

Как я ни настаивал, сразу троих никто взять не мог: недостаток и впрямь не позволял. Меня соглашались взять наперобой: четырнадцать лет – ясно, что ненадолго, да и по хозяйству уже помощник. Малыши же свяжут по рукам и ногам на десяток лет.

– Кем ты хочешь стать? – спросили у меня одного, поскольку у мелких спрашивать не было никакого смысла. И так ясно, на зареванных физиономиях написано: мамкиными и папкиными, преимущественно мамкиными, потому как «папку» своего они видели неделю в году в перерывах между отсидками бравого бронебойщика (вот еще до каких высот достигала моя ближайшая родня: до цевья автомата или противотанкового ружья – в зависимости от веса и роста) Великой Отечественной за неуплату алиментов в мирное послевоенное время. Своим законным: Сталин в сорок седьмом, учитывая внесенную войной громадную диспропорцию между мужским и женским населением страны и выискивая в ночных одиночных бдениях самые простые, неотразимые пути подъема рождаемости в канун новых холодно-горячих войн, отменил алименты как таковые. Всё как всегда. Все самые грандиозные задачи в этой стране вновь взваливались в первую очередь на женские плечи, в данном случае на женские животы.

Хорошо, что при Сталине еще не было искусственного оплодотворения – он, с юности недолюбливавший женщин, довел бы свою взлелеянную в ночи формулу до совершенства теоремы Ферма.

Но в пятьдесят третьем, сразу после его смерти, Сталина поправили – стоит помереть большому политическому начальнику, как на свет сразу выскакивает какая-нибудь мелкая попанная справедливость, а то и вовсе невинность: нацепит пенсне, обует ручки в нарукавники, а ножки в валенки, вынет тоненькую редакторскую самописку и ширнет ею, как шильцем, в самую душу усопшего. Хрущев и ширнул: вернул алименты, и сотни тысяч уцелевших после войны и разохотившихся в мирных скитаниях, воспринимавшихся уже почти что раем – вроде как на войне умерли, а в сорок пятом воскресли, – мужиков крепко попали.

Сперва им сказали, что можно бесплатно и даже подталкивали к мотыльковой безответственности, а выдоив, как половозрелых осетров, велели платить. И женщины как сказались; даже те, у чьих скороспелых детей в метриках в графе «отец» стояли совершенно добровольные прочерки, вдруг задним числом всех-всех вспомнили и все-все припомнили. Так припомнили, что некоторые особо свободолюбивые мужички, вчерашние фронтовики вновь на передовой очутились: на рудо- и лесоразработках в Олонецком крае...

– Кем ты хочешь стать?..

Мы сидели в другой комнатке, вместе с детьми дядьки Ивана, в чьем доме и происходил раздел движимого материнского имущества, живого товара. Тройродные братья и сестры, особенно сестры – у дядьки Ивана четверо детей и полный паритет женского и мужского населения в рамках одной колхозной семьи – смотрели на нас с уважением: их еще никогда в жизни не делили.

Они пока всецело и безраздельно принадлежали совхозному шоферу Ивану Никаноровичу Гусеву, горячему, черноголовому и черноглазому, которого побаивалось за крутой и скорый на расправу нрав всё село, за исключением одного человека, и его жене Полине Андреевне, казачке, в отличие от него, столбового оседлого землепашца – вот она-то, коренастая, крепенькая и литая, как пулька из-под браунинга, и была тем самым единственным невеликим, но отчаянным человечком, который и не боялся Ивана Никаноровича. Когда он и на нее подымал увесистую руку, она, отважная, как, воробьяха, сразу задирала еще более увесистую скалку.

И Иван Никанорович вынужден был вяло успокаиваться: таблетка безотказная.

Всецело и безраздельно, но старшие из них, две девочки-погодки шестнадцати и пятнадцати лет, черноголовая и черноглазая, и совершенная, в маму, сметанка – та, что помладше, уже прикидывали в уме, кому б попринадлежать в дальнейшем: деревенские ухажеры с оглядкой на отцовский крупнокалиберный кулак и на материну универсальную скалку уже вились вокруг них мотыльковым столбом.

Мальчики же в этой семье были еще совсем малыши и действительно косились на нас с большой завистью: устойчивое наличие их собственных родителей (увы, нарушенное буквально через десять-двенадцать лет: дядька Иван сгорел первым – опухоль мозга, которую обнаружили, когда сама его некогда роскошная, как у Иоанна Крестителя, голова стала напоминать одну сплошную бледную, желтую, безволосую опухоль) – предопределяло и твердость местоположения самих пацанов. Не стой под стрелой! А они как раз под нею и находились, два маленьких, отчаянных – есть в кого – сорванца. Строго под родительской рукой – несмотря на их постоянное щенячье порсканье. Рука, увы, всегда поспевала, как бы споро передвигаясь вместе с ними, словно парус над челном. И даже две. То слева, то справа. То с левой, то с правой. И обе, даже без скалки, точны и отчетливы. Как ударения в русском, в котором оба они, как и их кровный батяка, были несильны. Вернее так: отец был силен, еще как силен в выражениях, зато матушка – исключительно в словах. И ударениях.

А если исчезают родители, догадывались малолетние отрошники, значит, исчезает и излучаемый ими, как равномерный керосиновый свет, подзатыльник. Есть чему позавидовать!

Меня вызвали «на собеседование» в соседнюю комнату, и девочки посмотрели на меня, как будто мне предстояла высылка в Париж. Жаль только, что в жилах у нас текла похожая кровь.

\* \* \*

– Кем ты хочешь стать? – строго спросил меня, переминавшегося с ноги на ногу, самый грамотный из дядьев, бригадир ремонтной бригады совхозных мехмастерских дядька Георгий Пантелеевич. Уже седой, спокойный и рассудительный, всеми в родне воспринимавшийся как несомненный авторитет, особенно по части отвлеченных вопросов типа того, что он сам мне только что задал. Положительность его состояла еще и в том, что все вокруг него, например, уже выпили и только перед дядькой Жоркой стоял еще совершенно нетронутый стакан. Некоторые из ближайших по столу собратьев могли и спутать и, приняв за свой, хлопнуть по второй, пока доморощенный Карл Маркс собирался с духом для первой.

Я твердо знал, что никто из дядьев в писатели меня не выведет и не только потому, что на всех пятерых или шестерых тут был один исправный читатель (мечтатель) нашей сельской библиотеки, и вы уже догадались кто. Человек, способный хотя бы временно забыть о безнадзорном существовании рюмки на столе, несомненно представляет интерес либо для сельской амбулатории, либо для сельской библиотеки, благо они и находятся в одном здании и обслуживаются одной милостивой заведующей и амбулатория, как и библиотека, также специализировалась только на голове, не признавая никаких других деревенских болячек, что впоследствии дядька Иван Никанорович в полной мере испытал на самом себе. Не только потому. В деревне, всем известно, писатели вообще не получают, тут получают люди физические, а вот умственные – только в городах или в поселках городского типа, вследствие того, видать, что в сельских населенных пунктах почва, а в городских муниципальных образованиях – исключительно атмосфера.

Знал, повторяю, и другое: что троих вместе, в один дом и впрямь не возьмут, и мне бы надо облегчить их задачу – попасть самому в детдом или интернат. (К тому же интернат, по моим представлениям, был почти что лицей – вот где действительно одна атмосфера, никаких наземных примесей!).

И я сказанул.

И дядьки поперхнулись. Самые впечатлительные вообще отставили граненые стаканы, что в обыкновенных обстоятельствах и представить было нельзя. Можно подумать, что уже живого писателя, да еще, не дай Бог, классика, увидали. И одно общее живое слово одновременно замерло у них на устах, и все разом вопросительно поворотились к Карлу Марксу – Георгию Пантелеевичу. Только он и мог дать достойный ответ на повисший в хате немой вопрос.

– Та-ак... – раздумчиво сказал Георгий Пантелеевич и почти как Ленин постучал костяшками пальцев по дощатому столу в районе подзабытой рюмки.

Потрясение большое, но Георгий Пантелеевич все-таки выдержал его с достоинством. Велел мне взять тетрадку в косую линейку, карандаш и выйти в следующую комнату. В последнюю, в самую заповедную – горницу. Их всего-то в хате три: первая, вроде кухоньки, где и сидела детвора, средняя, где копошилась основная семейная жизнь, и горница, самая нарядная, куда днем никто и не заходил, не забегал и куда в конце дня удалялись на ночлег Иван Никанорович и Полина Андреевна. Причем случалось и так, что Иван Никанорович отправляться-то отправлялся (иногда в дюже наклонном состоянии), но исключительно на крашенный деревянный пол. Супружеской взбитой кровати не достаивался. Да он и не взял бы, даже с разбегу, ее сумасшедшей целомудренной высоты и совершенно безропотно сворачивался калачиком, утратив всю свою предыдущую грозность, на тюфяке посреди комнаты, предоставляя тетке Полинке полную свободу действия: хоть казнить его, хоть миловать. Хоть раздевать-разувать его, разомлевшего (сапоги остервенело сдернуты с него еще в сенцах), а хоть и плюнуть, перешагнув через него, как через колоду. Тетка и перешагивала решительно, а ночью, слышно было, все-таки вставала, тормошила, с трудом поворачивая с боку на бок, сдирала штаны и рубашку: колода колодой, а все ж таки своя, не чужая.

Детям в горницу и ходу не было, потому что это только в литературе дети – цветы жизни, а так, на самом-то деле, натурально, это – грязь, и грязь, и грязь. Комнатка же содержалась в чрезвычайной чистоте, на которую и способны только вольные казачки (или подневольные),

вынужденные проживать среди оседлых землепашцев и их языкатой родни по женской части. Чистоту эту сверкающую в горнице Иван Никанорович только и нарушал местами – на то он и большое дитё. И Полина Андреевна спускалась с горных цепей подушек и перины к нему ночью даже не столько из жалости или будучи не в силах вынести храп, которым Иван Никанорович страдал именно в пьяном виде. Собственно, градусом храпа определялся и градус выпитого накануне: водка за двадцать один двадцать с пивным прицепом в сельском гадюшнике или домашний шмурдяк бабки Лякишевой по пятерке за литр с отдачей в понедельник. Градус храпом и выходил, это было его существенное полнозвучное испарение, наполнявшее весь дом до отказа, он и сквозь печную трубу, как сквозь самогонный выхлоп, наружу, в небо прорывался, принуждая ворон перед дядьки Ванькиной хатой резко менять направление делового своего полета. Некоторые летающие субчики, правда, преимущественно из воробьиных, даже внутрь трубы клювом – оттягиваемые за фалды тверёзыми жёнами – очумело заглядывали, после чего, закатив желтенькие, кругленькие глазки свои, долго не могли взять верное направление – в сторону совхозных складов – и двигались в низеньких небесах нырками, а то и вовсе вверх тормашками.

Полина Андреевна спускалась потому, что не могла пережить беспорядка, творившегося внизу, у изножья величавой железной кровати, и, как могла, приводила дядьку Ивана в боже-ский вид.

... Меня отправили в заветную комнатку, усадили за стол рядом с накрытой сахарной расшитой салфеткой радиолой «Ригонда», оберегаемой пуще иконы – телевизоры в селе появятся лишь лет через пять – в общем, послали в творческую командировку.

Нет, что ни говори, а писателем в России быть выгодно: и пошлют, и теплое местечко, даже в районе Колымы, отыщут.

– Напиши, что-нибудь и потом нам прочитаешь, – напутствовал меня на дорожку Георгий Пантелеевич.

Легко сказать! Я сел у радиолы и стал лихорадочно соображать.

– А о чем написать? – взмолился минут через пять, вполне в духе русской литературы в целом.

– А вот хотя бы про нас, – ответил мне дядька через плотно прикрытую дверь. – У тебя полчаса.

Все верно: и посодают, и подскажут, об чем писать. Об нас. И на всё про всё – полчаса. Русская литература – кастрюля-скороварка: кинул, плюнул – вынимай. Это вам не какой-нибудь слепой Гомер или хромой Байрон. Тут все зрячие и ходячие. Прыткие. Раздумья, разумеется, мучительные, как же без них. Но в строго обозначенное время: полчаса. Чтоб не дай Бог, не перехворала ни за судьбы человеческие, ни за свою собственную.

И я засел. Мне показалось, что дядьки даже реже наливать стали и совсем перестали выражаться. Большое желание имели быть зафиксированными родной и двоюродной русской литературой и периодикой в положительном свете.

\* \* \*

Конкретного текста, конечно, не припомню: больше сорока лет прошло. Но описывал именно то, что и происходило за дверью. Как сидят мои незабвенные дядья, из которых в живых остался на данный момент один Карл Маркс и у того совсем плохо с ногами, и грустно делят детей. И чтоб не так печально было, пропускают по маленькой за упокой души их горемычной сестрицы Насти – если ей, старшей из них, исполнилось сорок четыре, то сколько же было им, дядьям? – и просто так, за жизнь, что какая б ни была, а все ж-таки лучше смерти. За встречу, хотя и по скорбному поводу: вон дядька Сергей приехал на похороны издалека, с буровой вышки, на перекладных добирался, едва успел... Наверняка зашла речь и том, как дядька Иван и дядька Сергей на фронте встретились... Иван Никанорович генерала на «паккарде» возил, прибыли они с генералом тем в часть, где Сергей служил. Иван и вызвал родича через дежурного по штабу. Официально. Тот минут через десять к «паккарду» бежит, а в «паккарде» оставалась шинель генеральская с шитыми золотом погонами. Иван Никанорович на плечи ее по-оперному накиннул и важно так выходит из машины Сергею навстречу. Тот, новобранец, без году неделя, как призвали – двадцать седьмого года рождения – как увидел, что за погоны у Ивана Никаноровича, что за сумасшедшие звезды на враз раздавленных плечах, так мало что речи лишился, да еще и запнулся кирзачами за что-то и прямо перед генералом Иван Никаноровичем, перед его хромачами, недотепа, и растянулся во весь свой без малого двухметровый рост. Подошел к нему Иван Никанорович вплотную, сверху вниз, сурово так взглядывает и строго спрашивает:

– Живого генерала, что ли, не видал?

– Не видал, – чистосердечно признался снизу Сергей, подымаясь с карачек.

– Ну, быстро-быстро! – снисходительно скомандовал Иван Никанорович. – В машину!

Иван Никанорович, не в пример Сергею, призванному в сорок четвертом, был не просто старослужащий – генеральский водила, вообще-то, и сам уже почти что генерал-майор! – и не просто старший, хоть и двоюродный брат. Он был от природы командир, почти что, как и его наездник, генерал-лейтенант. Кто б его ослушался, окромя Полины Андреевны, которой даже к сорок пятому в его жизни и в помине не было: в пятый класс еще со своего Казачьего хутора – он стоял впритык к нашему селу и даже был неотъемлемой частью его, но назывался почему-то, из-за таких-то автономных характеров, населявших его, хутором – бегала.

И дядька, мой родной дядька Сергей, двухметровая, на тот момент совершенно худющая, беспузая жердь, дважды в красноармейскую шинель обернутая, послушно за ним засеменила. Это сейчас он, шофер-тракторист-комбайнер-буровик, брата Ивана, как новорожденного, может на руки взять. А тогда, переломившись в пояснице – хамыля-хамыля следом за сродственным генералом. Влезли они в обитый изнутри, как шкатулка для драгоценностей, генеральским же сукном «паккард», открыли Иван Никанорович никелированным ключиком бардачок да и вынули бутылку темного армянского коньяку «кавэвэка». Ловким бездымным хлопком таким, поджопничком пробочку выставили, как многократно, видать, проделывали, тренируясь к этому своему звездному часу, для евоного превосходительства, да и в два тонкостенных поместительных стаканца (генералы – они ведь тоже не с паперти взяты), из того же бардачка вынутых, единым пыхом-то и разлили.

– Пить? – одними глазами в минутной нерешительности спросил старшего, главнокомандующего, Сергей. И можете представить, какой утвердительной силы ответ прочитал в черно-пронзительных братковых очках.

Ровнехонько-ровнехонько ушла бутылка в два полированных стакана и ровнехонько-ровнехонько же затем – единым пыхом – в две повстречавшиеся на фронтовых дорогах родственные души.

– За победу!

И плитка трофейного шоколада «Мокко» вынута была по прошествии благословенных молчаливых пяти минут из все того же (бездонного, как и всё у генералов?) бардачка и выпотрошена из фольги и разломлена ровно посередине.

Не только Полины Андреевны, но и ГАИ, как видим, не было тогда еще на Иван Никаноровича.

В ходе той короткой, пока генерал обретался в штабе, задушевной встречи и шепнул многосведущий Иван брату своему Серёге, что предстоит ему, Сергею, дальняя дорога. Генерал приехал сюда не случайно. В составе других соединений Серегина часть двинется на Дальний Восток. Наперерез Японии – и в первую очередь солдаты, мобилизованные в сорок четвертом – сорок пятом.

И Серёга, стало быть, в их числе.

– Ехать так ехать, – вздохнул Сергей. – Наше дело маленькое.

Это ваше, мол, подразумевал, Иван Никанорович, большое.

Хотел повидать Европу, а выглядывать придется Азию.

И затарахтела теплушка в обратный лёт. Только в пятьдесят первом, теперь уже крепко старослужащим, неоднократно обстрелянным, раздавшимся и в плечах, и в животе, вновь двинулся Сергей с острова Хабомаи, на котором служил в береговой дальнобойной артиллерии – при необходимости снаряд, многоцентнерный гостинец спокойно достигал японской территории – и который Россия сейчас пытается щедро всучить Японии «взад» (да та кочевряжится, не берёт, уверенная, что со временем проглотит не кроху, а весь свой, хоть и крепко политый дядьки Серегиним потом, кусок), двинулся он домой. Пехом, на лодке, на катере, на попутках, а потом опять по шпалам, по шпалам, по шпалам, причем на сей раз, в общем, но все-таки вагоне, а не в теплушке, но почему-то, – почему? – да по кочану! – в два раза медленнее, чем в сорок пятом. Годы вынужденного простоя, воздержания брали свое, и большую часть пути бравый, вся грудь в медалях и знаках отличия, юный ветеран двух фронтов проехал в тамбуре да в купе у проводниц. В общем, в женских спальнях объятиях, которых на гражданке и попробовать-то не успел.

Громадная, как жизнь, страна раскрывалась перед ним.

Поезд долго огибал Байкал, и дядька бегал на станциях за пропотевшим жиром вяленным омулем: проводницам, комсомолкам и просто, из тамбура, спортсменкам. Денег, денег-то за

семь лет, почти как при царизме, солдату в карман натекло, накапало, набежало – и жёг он их без счёту и сострадания: жизнь открывалась. Да разве ж мы их не добудем – да навалом! Не кайлом – так зубилом...

Где-то к осени пятьдесят первого добрался Сергей до нашей Николы, появился, под вечер, в хате у сестры своей Анастасии, которую вчера как раз со своими двоюродными братьями и другими родичами и схоронил: всего-то десять лет спустя. Сталинский царизм, конечно, неплохо поднакапал в солдатский суконный карман (Сергей приехал не в «хэбэ», а в полушерстяной парадной форме, грудь вся высоченная звенела, как у крестоносца, от торжественного эмалированного металла, ни один самолет бы его сегодня не принял, будто и не с Курил добирался, а непосредственно с Красной площади). Хотя пипетка, по правде сказать, могла бы быть и пошире. Ну, да все равно весь золотой дембельский запас в дороге и остался. И даже будь его больше, воспользуйся генералиссимус Сталин в благодарность своему гвардии сержанту и впрямь пипеткой пошире, результат был бы тот же. К сестре ветеран прибыл налегке: в кармане – блоха на аркане. Косоглазенькая такая, японская. Вяленые омули, как и нежные женские объятия, понимаешь ли, даром пока не достаются. Даже молоденьким ветеранам двух победоносных войн.

И все же два подарка из фибрового чемоданчика – он так и вошёл, пригнувшись, в наши низенькие двери: в руке обтянутый дерматином фибровый чемодан, а за спиной скатка с шинелью, которую солдату, несмотря на лето, генералиссимус и местное командование выдали, как сухой паек, на всю оставшуюся гражданскую жизнь: чтоб в случае чего быстренько-быстренько мог собраться да подпоясаться, не забывался чтоб – два подарка дядька все же достал.

Матери – льняную настольную скатерть, с выбитыми на машинке узорами и с кистями по периметру. Скатерть эта нарядная и матери моей, дядькиной старшей сестре, прослужила до самой смерти, и даже в мою семейную жизнь каким-то макаром потом перешла: в последние годы ее стелили уже не на стол, а под простынку в детской кроватке, чтоб пятна детских неожиданностей меньше, значит, на перинку попадали. Была скатертью-самобранкой, а стала, старенькая, вытершаяся до праховой нежности, подкладушкой под крошечными тельцами одна за другой появлявшихся моих дочек. Собирала в молодости продукты жизни, а стала собирать в мягонькой старческой своей горсти первые, трогательные продукты маленькой человеческой жизнедеятельности. Подросла, переросла детскую кроватку младшая, четвертая из дочерей, и стираная-перестиранная, глаженная-переглаженная льняная скатерть, проехавшая когда-то в фибровом чемодане поперёк всей России и несмотря на ответную рыцарственную щедрость дядьки по отношению к своим попутчицам так, слава Богу, и не брошенная им в огонь дорожной любви, скатёрка эта исчезла. Как облатка младенчества. Стала ли окончательным прахом, горстью льняного пепла или была по ошибке выброшена вместе с остальными, кроме одной-двух, оставленных на память, пеленками? В общем, когда кинулся, уже никаких следов не нашел. Теперь от матери осталось только старенькое зеркало и то в сменной лет двадцать назад рамке – старая совсем рассыпалась. Оно висело когда-то в нашей хате на стене, и я подпрыгивал, стараясь заглянуть в него. Сейчас подпрыгивать не приходится, но, вглядываясь в него, висящее уже не в квартире, а на даче, на обшитой вагонкой бревенчатой стене, я иногда пытаюсь увидеть в нем мать. Должно же было оно запомнить, тайно, подкожно впечатать, впитать ее облик! – мать, статная, с правильными, старорусскими чертами лица, вовсе не была синим чулком. Произнеси мысленно пароль, и тайный, смутный негатив проявится. Но ничего, кроме собственной угрюмой физиономии – и та уже лет двадцать, как кажется не своей, а полученной в бюро забытых обременительных находок – не вижу.

Пароль, как рифма, не даётся на язык?

Или мы её оба забыли?

...И второй подарок – мне.

Откуда узнал о моем существовании? Это все равно, как если бы о нем, совершенно крошечном, незаметном, узнал бы сам Господь Бог. Мать была неграмотной, несколько лет спустя я сам расписывался за нее в ведомости на зарплату. Да если б и знала грамоте, вряд ли стала бы сообщать младшему брату на две войны эту новость. Письма ему редко, но наверняка посылала: скорее всего диктовала, зазвав их к себе в хату, соседским грамотным девчонкам.

Но и через них, их старательными почерками тем более вряд ли стала бы оповещать его о случившемся.

Скорее всего, кто-то из родни, из двоюродных сестер постарался. Шепнул – аж до Курил долетело – тиснул: Настя-то, Настя-то наша... Я и счастлив, что нашлась хоть одна писучая, вполне успевающая по русскому предмету душа. К слову говоря, одну из теток моих так и звали – не Евдокия, а сразу, ласково и уменьшительно: Душонка... С большой буквы.

Я-то дядьке поразился до онемения: громадный, весь позлащённый, белокурый, вьющийся чуб из-под сбитой на затылок фуражки со звездой и с лакированным козырьком столбнячим матюком стоит. В хату нашу под вечер вошел, и матушка моя, как подстреленная, рухнула ему на боевую грудь. Я остолбенел, сделав руки по швам и рот разинув как прилежный птенец мухоловки.

Я, конечно, ждал – откуда-нибудь, хоть с того света – отца, но и дядька, тем более такой героически-эпический, мне был баснословной удачей. Отбросив в сторону чемодан, он и меня шумно сграбастал, как будто бы знал меня тыщу лет – хотя мне всего-то было четыре.

Совершенно не удивился. Прямо ехал и только и мечтал, как он меня здесь встретит, несмотря на то, что семь лет назад, когда он из этой же хаты, провожаемый одной только старшей сестрой, и уходил (в военкомат, в райцентр и впрямь надо было пёхом переть – другой бы и завернул куда-нибудь вбок лет эдак так на двадцать, дядька же сам, семнадцати лет, набивался на службу, благо что остановить было некому: мать с отцом уже снесли на кладбище, Настю же он сызмалу не боялся) из этой же хаты и уходил на фронт, никаким племянником в ней и не пахло, да и взяться, запахнуть было неоткуда.

Особенно таким.

И поднял меня над своими плечами так, что я тоже вынужден был пригнуться, несмотря на малюсенький ещё рост, чтоб не пробить головой потолок. И расцеловал, обдавая одеколоном «Шипр», меня в обе щеки, чем немало меня удивил: я и не знал, что целуются не только мама и тётки, но и дядьки тоже.

Не удивился: ну и что, что не было и не пахло: помели веничком по углам и – наскребли! И – запахло.

Дядька поднял меня над собой, и мы несколько минут смотрели прямо в глаза друг другу: я, тужась, чтоб не перепугаться и не расплакаться – да и насколько они верны, надежны эти дюжие мужицкие руки, которых я доселе не знал, а то развяжутся, и полетел я кубарем вниз – вперился в голубые-голубые, с прозеленью и веселыми искрами в них, дядька же вперился – прямо в Азию.

Ну да. В полные восторженного ужаса и сомненья в собственном счастье, отчего изливающаяся из зрачков потусторонняя смола приобрела совсем уже перекаточный, почти что птичий блеск, непроглядно темные и беззвездные.

Два мира – два Темира.

Потом опустился на колени, открыл, ловко звякнув защелками, дутый свой чемодан, вынул и бросил матери в неловко растопыренные руки сбереженную во всех искушеньях китайскую льняную скатерть – я даже не следил за ее разлатым полетом, потому что дядька вновь склонился над чемоданом.

Ну не может же быть, чёрт возьми, чтобы просто так!

Неужто и мне перепадет мастерский бросок?!

Дядька вынул со дна чемодана черный, воронённый, длинноствольный револьвер, наставил его в меня – я, прижавшись к кровати, снова сделал руки по швам – и выстрелил.

Нажал! – пистолет окутался дымом и – жахнул. Дядька, протягивая его рифленой рукояткою мне, расхохотался, мама уголками рта деликатно улыбнулась, а глазами, такими же зелено-голубыми, как у дядьки, ужаснулась.

Я перестал дышать, а задышав наконец, окончательно разревелся со страху, считая, что я уже на том свете. Да и от счастья, какого на этом свете еще не испытывал. Дядька, поняв, что сморозил глупость, перепугал насмерть не только меня, но и сестру, стоявшую у него за спиной, обхватил меня, стал всовывать пистолет мне в правую руку, сам направлять ее с пистолетом прямо ему самому в широкую, с расстегнутым воротом, грудь и требовать, чтобы я, не робея, немедленно выстрелил в него. И будем квиты. Я, всхлипывая и содрогаюсь всем своим невеликим, особенно рядом с дядькою, телом, переложил пистолет в левую руку, поскольку был левшой, прицелился прыгающим стволом с крошечной мушкой на конце и – выстрелить не смог.

Еще пуще разревелся и кинулся матери в руки. Дядька, окончательно сбив на пол напоминающую петушиный гребень красноармейскую фуражку, растерянно поднялся и виновато чесал пятерню репу.

Дуэль наша закончилась со счетом один ноль.

Кидаясь матушке в руки, пистолетик-то я предусмотрительно захватил с собой: ну, может, до пятьдесят второго.

Дорого же обошёлся дядьке Сережке этот злополучный выстрел! – с той самой минуты, как он прогремел, в жизни у меня не было более надёжного заступника и более рьяного перевозчика моих успехов и талантов, подчас видимых только ему, чем он. Доходило до смешного:

дядька любую ситуацию мог перевернуть в мою пользу. Приехал я, к примеру, к нему однажды в его районное село, будучи корреспондентом «Комсомольской правды». В гости приехал, не по делу. Но – на корпунктовской машине. А незадолго перед этим прилетел с Кубы, где «освещал» Всемирный фестиваль молодёжи. И привез дядьке трубку, к каковой он пристрастился в те годы, и упаковку кубинского табаку. Дядька был сражен и тем, и другим: и трубкой, и Кубой, которая в его представлении была еще дальше Курил, где-то на другом свете. И на следующее после очень горячей встречи утро разбудил, растолкал меня спозаранок.

– Поехали на базар! – сипел дядька мне в ухо, изображая шепот, к которому ни грудь его, ни прокаленная, как мартен, гортань ну никак не приспособлены.

Я, конечно, знал, что поход воскресным утром на базар – святое действие для каждого южного семейства, но зачем нужен в этом коллективном походе я?

– Бери шофера и поезжайте, – ответил, перевернувшись на другой бок.

– Не, – насупился дядька. – Вставай...

Ничего не поделаешь: поднялся, собрался, преодолевая покачивание в расплавленных, после вчерашнего, мозгах. Поехали. Машину «Волгу» собирались оставить у входа на рынок, но дядька почему-то попросил и рыночного привратника (наверное, прадед Гайдара по боковой линии) уговорил-уломал, пообещав что-то на обратном пути, чтобы она проследовала на территорию базара за нами. Ну и пошли мы через арку местного продовольственного платного рая: мы с дядькой торжественно выступаем впереди – у меня за счет разжижения мозгов торжественности поменьше, у дядьки же, закаленного в подобных боях, в полном объеме – а шофер Витя поманеньку рулит на «Волге» за нами. Дядька приценивается, торгуется. Домашнее вино мы с ним в рядах крошечными стаканчиками пробуем. И только тут я начинаю соображать, для чего дядьке Сергею понадобились на базаре мы в едином сочетании – и я, и машина. Вовсе не для того, чтобы возить-носить. Едва ли не на каждом шагу попадаются Сергею Владимировичу на базаре, на самом посещаемом районном пятаке, друзья-товарищи по столу, по вышкам (дядька не эков сторожил, а нефть добывал) и каждому из них, прежде чем протянуть малюхастенький граненый, как бы скупобриллированный, чтоб не «передать», стаканчик, небрежно, не глядя взятый дядькой перед этим из-под носа очередной базарной шинкарки, каждому дядька вполголоса – это все равно, что в паровозную трубу мундштук саксофона вставить – сообщает:

– Да вот, племянник с Кубы приехал...

И кивает сперва на меня, а потом на потихоньку крадущийся за нами «лимузин». Как будто я непосредственно с Кубы и непосредственно на автомобиле. И как будто бы я там, на Кубе, не абы как, не пролетом, не хухры-мухры, а шишка на ровном месте. Чрезвычайный и полномочный, например. За чрезвычайными и полномочными машины даже через океан подобострастно ползут.

– Племяш вон... с Кубы... Вечером заходи...

Ну, и скупает все для вечера, загружая попутно в багажник все той же «Волги».

И друзья-товарищи его, уже куда как уважительнее смотрят на меня, чрезвычайного и полномочного племяша, да и на дядьку заодно тоже...

А в пятьдесят первом, утром следующего, после приезда, дня, чтоб уже окончательно загладить вчерашнюю вину передо мной, даже бегал со мной наперегонки через дорогу и обратно. К саманным развалинам чьей-то большой хаты, оставленной жильцами в голод тридцать третьего по причине коллективного переселения в мир иной. К развалинам и назад. И даже, забываясь, иногда перегонял меня, но я все равно заливался счастливым смехом: я все давно простил. Пистолет доставил мне немало прекрасных минут – у меня слишком многого не было: отца, велосипеда, а тут у меня появилось то, чего блистательно не было ни у кого в округе. Жаль только, что кассеты с пистонами быстро кончились. В нашем же сельмаге они не продавались. Но пистолет и без них, особенно на наших кур, разлетающихся от одного его вида брызгами (видимо, генетическая память о немцах, стоявших в нашем селе с месяц, но успевших перестрелять почти всю живность) производил неизгладимое впечатление.

Умирал дядька в девяносто первом, через тридцать лет после старшей своей сестры. И последние осознанные слова его были обо мне, хоть я и не сумел спасти его даже в лучших московских клиниках от роковой болезни.

– Как ты там? – спросил я его девятого ноября того приснопамятного года, когда ему, уже неподвижному, в том самом райцентре, в котором когда-то разъезжали мы по провинциальному базару, поднесли к кровати и к уху телефонную трубку.

– Да что я, – с трудом, с перерывами прошептал дядька. – Я теперь о тебе думаю...

Рак легких: шепот у него теперь стал совершенный. Пиано пианиссимо. Младенческий. Я уже никогда не стану абсолютно несчастлив, потому что была на белом свете как минимум одна хорошая человеческая душа, которая до последней минуты думала обо мне.

\* \* \*

Вряд ли я написал все это тогда в тетрадке – да многого на тот момент еще и не случилось – но что-то все-таки такое было накарябано мною про них, что после моего самоличного громкого прочтения (как юный Пушкин перед компашкой Державиных) им страничек, испи-санных в уединении в соседней комнатке, дядьки примолкли. Потом сдержанно улыбнулись. Потом дядька Иван, ломая смоляную бровь, налил на правах хозяина дома им всем еще по стакану и веско сказал:

– Этот останется у меня. До устройства в детдом.

Достоевский, вытаскивая сам себя за клейменный лоб из семипалатинской ссылки, написал три славословных стихотворения на смерть монарха, пославшего его на каторгу и в ссылку, и на восшествие следующего. Я еще не знал, что у меня есть столь великие предшественники, но пошел примерно тем же путем: написал оду родному народу и... тем самым избавился от него. Кто же будет терпеть более или менее правдивого сочинителя у себя под боком? Мало ли что... А года через два я собрал у себя в Буденновском интернате – слава Богу не в детском доме – и остальных своих братьев, деликатно изъяв их у своих же дядьёв, причем младшего – у дядьки Сергея.

Потому что последние слова матери, умиравшей у меня на руках, были тоже ко мне:

– Ты... их... не теряй.

Слова эти я разобрал скорее по ее сожженным губам, нежели по голосу.

Сказала, в изнеможеньи, как погубленная птица, повернула голову набок, почти заподлицо уйдя в подушку, и – прозрачная, бесшумная волна вечности накрыла, упокоила ее.

Разве ж я мог не понять, кого «их»? – они и стояли, угнувшись, как двоечники, по бокам кровати, уже как по бокам у гроба.

Как все-таки по-разному думали обо мне мой родной дядька и моя родная матушка! И как одинаково – как дай Бог и мне – не думали в известный миг о себе.

В общем, не только в этом первом «произведении», но и во всех последующих, озирая жизнь, я всякий раз, как в забор, упирался взглядом в свою родню. Не потому, что она такая многочисленная, а потому что не требует воображения. Ну, какое воображение необходимо, чтобы описать, например, того же незабвенного дядьку Сергея: бери его, единым ли куском или сколько там зачерпнешь – да на литературную сковороду. Благо, родня моя безответная: ни памфлетом тебе не ответит, ни так, по-человечески, кулаком не выскажется – все-таки из писарчуков я в ней один и она на всякий случай меня приберегает: кто его знает, какие художественные времена еще вернутся. Один из моих дядьёв, по другой линии, в начале пятидесятых во внутренних войсках служил, отпуск за «пресечение побега» получил. Его родная сестра – моя крёстная мать, и я помню, как этот отпуск отмечался-обмывался в её хате: с песнями до слёз и слезами до песен. Ну, и описал это в одном из последующих своих опусов. И только после того, как дядька Василий мой – он всего-то лет на семь-восемь старше меня, поэтому звал я его, как и все вокруг исключительно «Васькой» – только после того, как Васька, тракторист с громадного трактора «К-700» – аббревиатура, прямо как у «Черной акулы» – орденосец, дважды посылавшийся от совхоза аж на ВДНХ (вот об этом по-хорошему и надо было бы писать, а я всё черт знает о чем) помер в шестьдесят два года все от того же рака легких, только после этого и выяснилось, что ни в каких ВВ он не служил. И служить в пятидесятых нигде, кроме как на прицепном плуге, не мог. Потому как если мне в пятьдесят первом было четыре года, то ему, стало быть, одиннадцать-двенадцать, а даже двенадцатилетних в армию у нас пока не берут. (А скоро, наверное, будут: двенадцатилетних призывников по вокзалам наскребут-нагребут и прямиком в казармы – защищать частный капитал и капитализм в целом, ибо больше уже призывать некого). А служил во внутренних войсках, в Красноярском крае, на енисейских зонах его старший брат Митька. И произошло все это с Митькой, а не с Васькой. Но Митька был на-много старше меня, я его не то, что не любил, а просто побаивался, угрюмого, со сросшимися бровями – Ваську же, легкого, сильного, чумового, любил беззаветно, вот и спутал и приписал ему чужую встречу в хатке у крёстной году в пятьдесят втором – пятьдесят третьем, на которой сам сидел счастливым довесочком в материных коленках.

– Не про него ты написал, обиделся Васька, – сказала мне уже после Васькиных похорон крёстная моя Нюся.

Крёстная – единственная из родни, которая все мое читает, даже сейчас, когда ей восемьдесят пять и когда выцветшие-выспевшие, как у старой бирючки глаза ее, – даже в телевизоре

никого уже, кроме Президента, которого она почему-то, несмотря на относительно юный его возраст, как и всех предыдущих, именует исключительно «Брежневым», – уже не видят.

– Брежнева показывают? – спрашивает из своей комнатки правнучку.

– Ага...

– Ну, тогда выйду...

И, кряхтя, слезает с кровати: должность у нее сейчас такая, единственная: «Брежнева» вечером посмотреть и послушать.

Не про него написал, – вот и весь укор. Существо дела крестная не опровергает. Она вообще ведет себя со мною крайне деликатно, потому что ждет, когда же я по-настоящему, обширно, эпически, а не мимоходом, напишу и про неё. Когда приезжаю, она, уже почти неходячая, каждый раз оказывается с тутовой палкой в корявых руках перед хаткой своей на лавочке. О приездах своих я никого не оповещаю, потому что боюсь окончательно завратиться: Москва же она с трудом отпускает человека в свободный полет, тем более на родину – ревнива, как всякая большая старая барыня. Но у крестной, которая всего лишь в десять раз моложе Москвы, с первопрестольной, видимо, своя беспроволочная связь: ноги отказывают, но на кровати я ее не застал ни разу – исключительно на завалинке. Ждет. Может, и не меня: у неё и своих, единокровных, немало и поразлетелись они по всему краю.

У крестной на меня особые права: я родился на её печке. Шла– шла моя мать ранним майским утром с другого конца села к акушерскому пункту, да и не дошла. Не донесла. К двоюродной сестре своей Нюсе Рудаковой завернула, да здесь же, в ее саманной мазанке, на хорошо истопленной русской печке, точнее на печной лежанке, и разрешилась. Можно сказать, прямо в Нюсины большие, с марганцовкой вымытые по такому случаю руки – кому же, как не Нюсе, восприемнице, и быть крестной? И в каждый мой приезд Нюся обязательно ведет меня (веду-то под руку её я, но дорогу палкой своей указывает, выщупывая все ее шероховатости, хотя и ходит по этой стёжке уже седьмой десяток лет, она) в свою совершенно, по самые окна, по крону ушедшую в землю хатку. А потом и к печке непременно подводит. Жерло, топка у печи находятся в одной комнатке – не только когда вхожу в двери, но и в самих комнатках мне приходится передвигаться, пригнувшись, чтоб не садануться часом о выпирающие, как ребра на худющем старческом теле, стропила – сама же лежанка расположилась в горничке. И печка, и лежанка, обрастающая, как и сама крестная, подпорками, удерживающими ее в надлежащем положении, давно бы выгорели, разохлись и обратились бы во прах, если бы Нюся каждую весну не поднималась с одра, чтобы подправить и подмазать их к Пасхе, причем лежанку не просто глиной, а глиной с конским навозом – по нынешним временам в деревне скоро и человеческого не сыщешь, не то что конского – и, смазанная этим молодильным месивом, лежанка еще ничего. Ещё бой-баба. Дотрагиваюсь до нее ладонью: дышит. Греет. Кобылкой, когда совсем уж разогреется, попахивает.

В Нюсином дворе давно уже второй дом стоит – добротный, с удобствами. Старший сын, фермер, перебивающийся от кредита до урожая или неурожая, мучился-мучился, но достроил. И крытая камышом ветхая мазанка да еще и со старозаветной печкой – давно как бельмо на здоровом глазу единого и обширного деревенского двора. И старший не раз предлагал матери перебраться в новый дом, к молодым, а завалюху ее – завалить. Толкни хорошенько плечом ее – у старшего, стодвадцатикилограммового, плечо как раз подходящее – и рухнет, как загнанная

кляча. Но Нюся наотрез отказывается. И переезжать – так и живет отъединенно в общем с сыном дворе – и валять.

– Помирать здесь буду, – выставляет резон, против которого не попрешь.

Но по тому, как она каждый раз, словно в доме-музее первого съезда РСДРП, что в Минске, настойчиво подводит меня к печке, кажется мне, что тут замешано и кое-что другое.

Сдается мне, что после смерти моего дядьки, её двоюродного брата, приняла Нюся на себя его прощительную блажь. И не кобылой Зорькой, за которой полсела со старыми вёдрами гоняется, особенно перед Пасхой, как за бетономешалкой, не давая бедной животине опростаться без назойливых свидетелей, пахнет для нее печка-лежанка, а ароматом истории.

Верит Нюся в мою звезду – больше меня самого. И кажется ей уже в тумане, что это не мать, не Настя меня произвела на свет, а непосредственно ее русская печь.

Такой пирог, скажу вам, вышел! – только мал-мал подгорелый.

Когда много лет назад один мой рассказик напечатали в журнале «Крестьянка», выходявшем в те времена многомиллионным тиражом, крёстная, тогда еще вполне мобильная пожилая женщина, добросовестная подписчица и не менее добросовестная читательница, всё село со своей персональной «Крестьянкой» обежала и потом торжественно сдала ее в сельскую библиотеку: чтоб, значит, знали, чтоб русская Крестьянка ее пошла по рукам, как какая-нибудь французская Пышка. «Новый мир», в котором крёстного ее тоже печатали, до села не доходил, оно, слава Богу, жило в те времена исключительно старым миром, а вот «Крестьянка» к Нюсиному восторгу прошла по Николе, как танцующая Кармен – наряду с переходящим по всем читающим дворам «Замком Броуди».

Крёстная моя, возможно, вообще бессмертна, потому что хочет дотянуть не только до тех времён, когда я, наконец, опишу ее для потомков по полной программе. Крёстная хочет дожидаться моей всенародной славы – вот ее-то и выглядывает скорее всего она своими почти незрячими, хотя и ясными-ясными, как месячная ночь, глазами и со своей одинокой деревенской завалинки да и в брезжущем, со слабой антенной, телевизоре, боюсь, тоже: помнит, помнит, древняя, времена, когда каждую неделю показывали ее воспреемленного по Центральному телевидению – вот когда Нюся пережила пик почти что горделивого счастья.

Ждет. Чтоб водить к своей печке народ со всего Советского Союза – на меньшее не согласна – и чтоб оловянную доску на ее похилившуюся, вроде уже как умственно тронутую, хатку прибили: «Здесь родился и...» ну, и далее по тексту.

Я, уже почти забывший тихое, скромное материнское тепло, трогаю шершавую русскую печку, а крёстная, опершись на палку, строго следит за мною снизу: сполна ли воздаю я сыновние почести матери-героине? В такие минуты она сама уже почти что писательница – правда, из-за недостатка зрения и грамоты не письменного, а устного направления. Джамбул Джабаев, только не в тибетейке, а в русском полушерстяном полушалке.

Крёстная втайне недоумевает: столько лет я уже в Москве, а славы все нет и нет. Москва и слава в ее понимании – это почти синонимы. Достиг Москвы – и нос в табаке. А тут, судя по всему, не в табаке. Махорка и та обсыпалась. И как мне объяснить ей, мудрой, что я столько

лет гонялся за этой самой славой, пытаюсь подладиться, изловчиться и так, и эдак, чтоб подцепить-таки или подстрелить коварную и неуловимую, понравиться всем и каждому, желательно сразу миллионам, что в последние годы уже вовсе и не держу ее ни в уме, ни на мушке. Что пишу теперь, в том числе и в эту минуту, уже только для одного читателя: для самого себя. И так, как считаю нужным.

Но крестной этого говорить нельзя. Не поймет. Не одобрит – она натура общественная.

– Ну, как там Брежнев? – спрашивает меня, как будто я телевизор, всякий раз.

Прожившая трудную, натужную назёмную жизнь и детей-внуков своих пустившая не по верхам, а по корешкам, она все свои романтические, горделивые грёзы сосредоточила почему-то на мне. Свои пошли по проторенным, домашним путям, Настиного же препоручила судьбе. Чёт или нечет. И до сих пор, святая простота, верит, что – чёт. Вроде повели на расстрел, а вернулся – героем.

Увы, надо бы печке её еще разок поднадуться, собраться с русским своим хлебным духом и – разродиться другим. Следующим. Более удачливым. Я вот на двухлетнего внука, белобрысого, но с терново-темными девичьими глянцевиными глазами, сейчас внимательно смотрю: возможно, он тоже из той же жаркой печи?

А вдруг? – видимо, и я, как и крестная, ещё не лишен, несмотря на крутые горки, некоторых фамильных грёз. Не вычесался, несмотря на лысину, от них, как от блох, окончательно.

Но разве ж ей скажешь это?

– Ну, и как там у вас Брежнев?

Невдомёк ей, что с «Брежневыми» я давно не якшаюсь, что выпал, вылетел из их ближнего круга – видел вот одного на приёме, так разве ж к нему пробьёшься, такое завихрение вокруг него, помазанника Божьего, что того и гляди спичечной головкою торнадо, им самим и вызванного, под своды Кремлёвского дворца выструится. Да я и не пробивался: ловкостью, гибкостью всепроникающей Господь не наделил. Вот когда остаются они, столь несокрушимо, кажется, востребованные сегодня, не у дел – вот тогда к ним, вчерашним небожителям, удивлённо озирающимся вокруг себя в поисках хотя бы одного знакомого и вчера еще, да даже сегодня утром столь преданного лица – вот тогда к ним полный и широкий, по всему их периметру, доступ таким как я. Потому что тогда он будет холостым. Это сейчас заряжен, как бронбойный патрон, и каждая элементарная (себе-то кажется утончённо-сложной, значительной) частица бомбардирует его в тишине с одной единственной целью: хоть что-то урвать, унести, продолжая путь навывлет, на своём окровавленном копье – ну, хоть влажную помарку благосклонного взгляда. После же, если и будет интерес, то чисто энтомологический: подойти, смерить взглядом и про себя довольно ухмыльнуться: а что, и мы – не хуже многих...

Когда сам служил в Кремле, на приёмы почти не ходил, хотя приглашения копились на столе горками. Считал бесцельным времяпрепровождением: выпить-закусить можно и в своей компании. К тому же, казалось, такое положение вещей – собственное брненное пребывание в Кремле – будет годы и годы: успеется. Увы, рубануло, как топором по канатам, и причальная, красного кирпича, кремлевская стенка оказалась далеко за бортом. А сам ты – в открытом штормящем море, если не сказать – в нигде. А тут случайно, вместо другого, позвали

и – встrepенулся. Галстук нацепил, явился не запылится. Побыл, поозирался – лиц-то знакомых немало. Молодцы, приспособились, приладились к новому направляющему шагу, но большинство делают вид, что ни сном, ни духом: можно подумать, что ты изменился больше, чем они. Выпил-закусил и досрочно, даже не захмелев как следует, хамыля-хамыля восво-яси. Гора-то Лысая да – чужая. Сладки бубны за горами – не про нас. Проходя кремлевскими площадями, подумал: а мётлы, мётлы-то персональные стоят, ожидаючи, шикарные, сплошь иностранного производства. Словно мы эти страны присовокупили, покорили, а не растеряли половину своего, кровного, кровью и потом политого. Это неправда, что у нас рождаемость никудышная. Посмотрите на начальников: страна скукоживается, как шагреневая кожа, а они плодятся в геометрической мордатой прогрессии и в совершенно другом, полированном качестве, что больше всего, нагляднее всего и видно по бесчисленным стадам персональных лимузинов, сквозь которые рядовому москвичу сейчас не протиснуться. Худеть надо, черт возьми, чтоб сквозил между ними бесплотным духом!

И еще на одно обратил внимание: каждый мало-мальски большой начальник пришел на прием со своей охраной, некоторые из охранников, в отличие от своих хозяев, даже здоровались с тобою – к демократическим прынцам перешли по наследству от князей тьмы. Раньше в Кремле такого не было: охрана на подобных мероприятиях имелась – в предупреждение заговоров – только у одного. Да и вообще охрана, как таковая, к кому бы формально ни была приписана, по большому счету охраняла только одного. Единственного. Всех стальных своих подопечных лишь при необходимости, шито-крыто, арестовывала. Ну да – по милостивому прищурю того самого. Единственного.

– Не, не было такого раньше, – проговорил ты сам с собой, учёсывая пешкадралом через Спасские ворота в сторону ГУМа – где-то там ждал тебя твой персональный «бобик», он же «козел», который, по правде сказать, правильно сделали, что не пропустили к Ивановской: там, на кремлевской закрытой площади, в столь респектабельном импортном окружении он смотрелся бы как первый призрак «Авроры».

– Не, не было такого раньше, – повторил ты весьма назидательно самому себе, почувствовав наконец, что напитки в Кремле по-прежнему хороши...

Вздумай я и впрямь рассказать все это своей крестной, она бы не поняла только двух вещей. Первое: как это можно уйти с дармовой пьянки – слово «досрочно» я беру в скобки. Ну, тут крестная, положим, неоригинальна. А со вторым посложнее.

– Неужели кремлевский коньяк лучше моего? – прищурит крестная свои виноградные почти так, как Единственный прищуривал некогда свои мускатные.

И что, скажите мне на милость, я должен сказать? Что ответить?

Ведь все наши встречи с нею, ну, с тех пор, как мне, скажем, исполнилось восемнадцать, заканчиваются одинаково. Крестная выставляет из своей хатки всех своих домочадцев, точнее «дворочадцев», поскольку живет с ними не в одном доме, а всего лишь в одном дворе, за исключением самых мелких, любимцев, что с годами сначала незаметно крупнеют, а потом уже и сами воспроизводят возлюбленную крестной мелочь, переходя лично в разряд нежелательных при данном таинстве элементов, и достает откуда-то из-под лежанки две «семисотки». Ну, как вы сами понимаете, это не денежные купюры и не бомбы. Хотя в купюры, подозреваю, превращаются с полтычка, поскольку это, разумеется, – бутылки. Это – производимый лично

крёстной в полном одиночестве (крёстная все еще считает, что государственная монополия на спиртное у нас не отменена, и самогонный аппарат держит в курятнике), если не считать прируса, «коньяк». Совершенно марочный, поскольку загорается от одной спички, что по мнению крёстной, и есть первый признак «марки». Рецепт «коньяка» старая держит в секрете, но об одной составляющей мне – на ухо – сообщила.

– На дубовых корочках...

– Но у нас же в Николе ни одного дуба? – удивился я.

– А ты ничего не чувствуешь? – вновь щурится крёстная.

– Чего именно?

– Родного, – говорит после некоторой паузы.

– Родного?

Оно, конечно, каждому русскому мужику, которому «за», запах алкоголя, особенно самопального, давно стал родным – но не настолько же, черт возьми, как предполагает этот лукавый, ласковый, прямо в душу обращенный взгляд!

– Ну... – силишься разгадать.

– Это твои карагачи, – шепотом подсказывает крёстная мать. – С твоего двора. Не хуже дуба...

\* \* \*

Вот оно что... Вообще-то, в нашем степном, полупустынном краю нет не только дубов, но и карагачей тоже нету. Дубов нет, потому что полупустыня: жесткая, полынная, с зарослями верблюжьей колючки и колючки «золотой». Да, она так и называлась – золотая колючка. Кусты приземистые, с тонкими, не мясистыми стеблями, поверхность которых к середине лета густо ошетиливается необычайно острыми, твердыми, будто их в нашей степи прокалили, и действительно золотыми, желтыми иглами. Причем желтизна их, содержание золота нарастает, как и твердость сплава, из которого, созревая, формирует их растение, по мере движения лета: тут твердая, как в кузне, зависимость от солнца. Если вначале они почти как из зеленого воска, то выспевая становятся благородного металла. Выкованными, как мельчайшие ювелирные гвозди, из чистого золота. Не попадайся им на ощупь – ни пяткой, ни ладонью, ни задницей: дырка, дополнительная, будет обеспечена.

Карагачей же нет, потому что все-таки степь. Что все-таки ещё (надолго ли?) Россия, почти что Европа. На все село только два карагача. И оба стоят у моего дома. У моей хаты. Не во дворе – на улице, прямо напротив окон. Во дворе были и другие деревья. Огромная старая, корявая тутина – вот она-то точно похожа на развесистый дуб. В ее кроне можно было затеряться, как воробью, на целый день. Лазать, ходить, спать, улегшись гусеницей на теплом шершавом отроге, лакомиться спелым тутовником. Ежевично черным, пупырчатым и сладким,

как мед. Ароматно-сладким. Человеку ягода и впрямь напоминает длинную-длинную, необычную ежевичину с удивительным азиатским вкусом, смахивающим на спелый инжир – не зря до сих пор спорят, что же такое смоковница: тутовое дерево или инжировое? Воробью же или скворцу, которых летом палкою не изгнать из кроны, где они застревают, как лягушата в сметане, она наверняка напоминает большую, мохнатую, пупырчатую и многоколесную гусеницу. Жирную и столь сладкую, что уже и не поймешь происхождение этой сладости: животное или растительное. Не зря тутину называют еще шелковицей, а самую нежную (и трудолюбиво-прожорливую) гусеницу – шелкопрядом.

Тутовым шелкопрядом: безостановочно ест, обгладывая ветки до костей, широкие, бархатистые листья тутовника, выпуская с противоположного конца своего тела зеленую, тончайшую, но невероятной крепости – парашютные стропы из нее делали – шелковую нить. Я еще помню, как занимались этим надомным промыслом, гоня нас, пацанву, в лесополосы обдирать тутовые деревья, высаженные некогда по указанию И.В., все наши сельские матери. Гусеницы, стогняя стариков и старух, жили, жирели, роскошествовали, наматывая в форме кокона свою пряжу (надеясь в этом коконе небедно перезимовать, превратившись в личину, и вылезти оттуда, расправляя влажные еще – шелковые! – крылышки, бабочкой), на запечных лежанках в каждом Никольском доме. Как главные люди, как кормильцы и добытчики, главнее стариков и старух – кажется, они даже кряхтели, производя свою копотливую страду. Надо же, как в жизни бывает: желеобразная мерзость, пожирая – выкатив зенки и почти что с чавканьем – живой, благоуханный лист, превращает его в нечто еще более прекрасное: в шелк. Что сладострастно облизывает наших земноводных спутниц, прежде чем выдать их на растерзание – ну, не всем, а самым удачливым...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.